

КОСТЕЙН
ГОРДДЕР

ВРЕМЯ
ПАУКА

АРКАДИЯ ■ ИЗБРАННОЕ



В голове странного мужчины Петтера Паука рождаются сотни захватывающих историй. Самую трепетную из них, о пропавшей дочери директора цирка, Петтер доверил любимой женщине, с которой вскоре расстался навсегда. А остальные в качестве сюжетов для будущих романов стал продавать находящимся в творческом кризисе писателям. Своеобразный бизнес приносит хорошую прибыль, и Паук не чувствует, какую смертельно опасную игру затеял...

В романе Юстейна Гордера много любви, философских размышлений, правды, вымысла, а еще он приоткрывает дверь в таинственный мир издательских книг.

Все книги издательства «Аркадия»
на **www.labirint.ru**

16+

Знак информационной продукции

ISBN 978-5-907143-53-1



9 785907 143531

АРКАДИЯ ■ ИЗБРАННОЕ



**КОСТЕЙН
ГОРДЕР**

**ВРЕМЯ
ПАУКА**



АРКАДИЯ

Санкт-Петербург
2020

УДК 821.113.5
ББК 84(4Нор)
Г68

Jostein Gaarder
THE RINGMASTER'S DAUGHTER
(SIRKUSDIREKTØRENS DATTER)

Перевела с норвежского Любовь Горлина
Дизайнер обложки Александр Андрейчук
Художник Иван Лицук

Публикуется с согласия *Oslo Literary Agency*
Издательство выражает благодарность
литературному агентству
Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency
за содействие в приобретении прав

Гордер Ю.

Г68 Время Паука : [роман] / Юстейн Гордер; [пер. с норв. Л. Горлиной]. — СПб. : Аркадия, 2020. — 256 с. — (Серия «Аркадия. Избранное»).

ISBN 978-5-907143-53-1

В голове странного молодого человека Петтера Паука рождаются сотни захватывающих историй. Самую трепетную из них, о пропавшей дочери директора цирка, Петтер доверил любимой женщине, с которой ему вскоре пришлось расстаться навсегда. А остальные в качестве сюжетов для будущих романов стал продавать находящимся в творческом кризисе писателям. Тайный бизнес приносит хорошую прибыль, и Паук, полагая, что оказался в нужном месте в нужное время, не понимает, какую смертельно опасную игру затеял...

В романе Юстейна Гордера есть все: любовь и философские размышления, правда и вымысел, а также острый взгляд на таинственный мир издателей книг.

УДК 821.113.5
ББК 84(4Нор)

- © Jostein Gaarder, 2001
- © Впервые опубликовано Н. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, 2001
- © Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление.
ООО «Издательство Аркадия», 2020

ISBN 978-5-907143-53-1 © Shutterstock, 2020

...думаю, что теперь это зашло слишком далеко — я имею в виду в интеллектуальном отношении, — вопрос в том, не нужно ли нам вообще сделать небольшую культурную передышку, чтобы осознать достигнутое, так сказать, переварить то, чем нас потчуют.

*Юхан Е. Меллбю,
депутат стортинга,
Крестьянская партия,
2 мая 1927 г.*

Освободиться от власти средств массовой информации и культурных наставников — все равно что попасть в неведомый, таинственный мир, вернуться обратно к действительности.

Время мечтаний прошло.

*Ховард Сименс,
юрист и внештатный
журналист «Афтенпостен»,
18 августа 2001 г.*

Голова раскалывается. Я ношу в себе сотни новых идей. И они всё прибывают и прибывают.

Не исключено, что до известной степени мысли сложно контролировать, но едва ли можно вообще перестать думать. В душе ключом бьют забавные мысли, я не успеваю их удержать, а они уже теснятся новыми. Мне трудно отделить одну мысль от другой.

Мне редко удается запомнить все, о чем я думал. Прежде чем я осмыслю очередное озарение, оно, как правило, превращается в другое, более удачное, но и то мимолетно настолько, что я напрягаюсь изо всех сил, чтобы спасти его от нахлынувших новых мыслей...

Опять у меня в голове звучат голоса. Меня преследует целая стая встревоженных душ, которые используют клетки моего мозга, чтобы поговорить друг с другом. Мне не хватает самообладания, чтобы вместить их всех, и значит, часть из них потеряется навсегда. Мыслей так много, что я должен постоянно давать им выход. Через равные промежутки времени я вынужден брать перо и бумагу, чтобы позволить идеям вырваться наружу...

Проснувшись несколько часов назад, я был уверен, что сформулировал самое адекватное определение бытия. Теперь я уже не так в этом уверен; во всяком случае, я отвел этому девственному афоризму надлежащее место в своей записной книжке. Убежден, что его можно будет обменять на хороший обед, а если я продам этот афоризм кому-нибудь, у кого уже есть известное имя в литературе, он, возможно, войдет в следующее издание «Крылатых слов».

Наконец я решил, кем стану. Буду заниматься тем, чем занимался всегда, но отныне это будет мой хлеб. У меня нет потребности прославиться, что очень важно, но я могу сильно разбогатеть.

Всегда грустно листать старый дневник. Приведенные выше записи датированы 10 и 12 декабря 1971 года, когда мне было девятнадцать лет. Три или четыре недели назад Мария уехала в Стокгольм. После этого я видел ее всего пару раз, последний — двадцать шесть лет назад. Не знаю, где она теперь, и даже не знаю, жива ли она.

Видела бы она меня сейчас! Мне следовало улететь первым же утренним рейсом, бросить все и улететь. Давление извне сравнялось наконец с внутренним давлением, и возникло некое равновесие. Думаю, что теперь я с этим справлюсь. Если соблюдать осторожность, можно прожить здесь еще пару недель, прежде чем сеть окончательно затянется вокруг меня.

Надо радоваться, что я целым и невредимым покинул эту книжную ярмарку. Они преследовали меня до аэродрома, но едва ли узнали, каким самолетом я лечу. Я купил билет на первый попавшийся рейс из Болоньи.

— Вы уже решили, куда направляетесь?

Я отрицательно покачал головой.

— Просто мне надо улететь отсюда, — сказал я. — С первым же самолетом.

Теперь настала ее очередь качать головой, потом она засмеялась.

— Пока пассажиров еще мало, — проговорила она, — но поверьте, потом будет больше. — И наконец, когда я уже получил билет: — Хорошего отдыха! Вы его, безусловно, заслужили...

Если бы она знала! Если бы она только знала, чего я заслужил!

Через двадцать минут после того, как самолет поднялся в воздух, я взял билет на другой рейс, во Франкфурт. Однако не полетел и этим. Они наверняка думали, что я, поджав хвост, лечу в Осло. Но тот, кто поджимает хвост, не всегда поступает умно, выбирая самую короткую дорогу домой.

Здесь я остановился в старой гостинице на берегу. Я сижу и смотрю на море: на длинном мысе стоит старая мавританская башня. В бухте рыбаки на голубых лодках вытягивают сети, другие направляются к молу с сегодняшним уловом.

Пол в номере выложен керамической плиткой. Она холодит ноги, я надел три пары носков, но от ступенной плитки они не спасают. Если я не согреюсь, придется снять широкое покрывало с двуспальной кровати и сложить его под столом, сделав подушку для ног.

Я оказался здесь совершенно случайно. Первый самолет из Болоньи с таким же успехом мог направляться в Лондон или в Париж. Тем более мне кажется исполненным смысла, что я сейчас сижу за старинным письменным столом, за которым когда-то давно

сидел и писал другой норвежец¹, он, как и я, находился в добровольном изгнании. Я приехал в европейский город, который одним из первых стал производить бумагу. Развалины старинных бумажных мельниц, как бусины, разбросаны по склонам долины. Конечно, я осмотрю их. Хотя почти все время намерен проводить в гостинице — я заказал полный пансион.

Маловероятно, чтобы в этих краях кто-нибудь слышал о Пауке. Здесь больше интересуются лимонами и туризмом, а сейчас, к счастью, еще не сезон. Я вижу туристов, идущих босиком по кромке воды, но купальный сезон пока не начался, и лимоны должны провисеть на деревьях еще несколько недель.

У меня в номере есть телефон, но нет друзей, с которыми я мог бы пооткровенничать, с тех пор как Мария уехала, у меня никого нет. К тому же я малопрятный тип, и меня едва ли можно назвать человеком чести, хотя, впрочем, есть один знакомый, который все-таки не желает мне смерти. Об этом написала «Коррьере делла сера», сказал он, но теперь, похоже, все рухнуло. Я решил выйти из дома завтра рано утром. По пути сюда у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать. Я один знаю весь масштаб моей деятельности.

И я решил рассказать обо всем. Я пишу, потому что хочу понять самого себя, и буду предельно откровенен. Это отнюдь не означает, что я стремлюсь к достоверности. Если человек считает, что пишет достоверно о своей жизни, это, как правило, говорит о том, что его судно перевернулось еще до того, как он пустился в свое рискованное плавание.

¹ Имеется в виду Хенрик Ибсен (1828–1906), проживший много лет в Италии. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Пока я сижу, погруженный в раздумья, по моей комнате расхаживает маленький человечек. Его рост не более метра, но он взрослый мужчина. На нем черный, как антрацит, костюм и лаковые ботинки, он носит островерхую зеленую фетровую шляпу и на ходу помахивает бамбуковой тростью. Иногда он показывает тростью на меня, и это означает, что я должен поспешить с рассказом о своей жизни.

Именно этот маленький человек в фетровой шляпе и побудил меня рассказать все, что я помню.

Когда я допишу свои мемуары, моим неприятелям будет труднее меня убить. Один только слух, что мемуары будут опубликованы, может нагнать страху даже на самых смелых. Пожалуй, стоит распустить такой слух.

Десятки диктофонных кассет надежно хранятся в банковском сейфе, я признаю это, но не скажу, где именно, у меня во всем полный порядок. На маленьких кассетах записана почти сотня голосов — столько людей уже признались, что у них есть повод меня убить. Некоторые угрожали мне открыто, все это тоже записано на кассетах, они пронумерованы с I по XXXVIII, к тому же я разработал подробный список, который позволяет быстро перемотать кассету до того места, где звучит нужный голос. Я оказался предусмотрителен, некоторые назовут это коварством. Не сомневаюсь, что именно слухи об этих маленьких кассетах охраняли меня последние несколько лет. Особую ценность мои маленькие чудесницы приобретут, когда будут дополнены этими записками.

Я вовсе не имею в виду, что мои откровения могут служить мне гарантией, охранной грамотой, да и кассеты тоже. Я собираюсь уехать в Южную Америку

или куда-нибудь на Восток. В настоящее время я подумаю об одном острове в Тихом океане. Так или иначе, мне все равно придется жить изгоем. Но, по моему, жить изгоем в большом городе грустнее, чем на маленьком острове где-нибудь в Тихом океане.

Я стал богатым человеком. Это меня не удивляет. Ведь я оказался первым в своей области, во всяком случае, я первый повел дело с таким размахом. Рынок был неограничен, и я все время поставлял на него свой товар. Я не преступал законов и даже умудрялся частично платить налоги, кроме того, я жил скромно и не пропаду, если мне и придется погасить значительную недоимку по налогам. Переводы денег были вполне легальны и для моих клиентов, хотя от чувства неловкости это их не избавляло.

Я понимаю, что с сегодняшнего дня стал изгоем и, следовательно, беднее многих других. Но я не менялся бы судьбой с каким-нибудь учителем.

Да и с каким-нибудь писателем, если на то пошло. Вряд ли я смог бы жить исключительно частной жизнью.

Маленький человечек действует мне на нервы. Единственный способ забыть о нем — это поскорее начать работать. И я начинаю с того времени, как помню себя.

Петтер Паук

Я считаю, что у меня было счастливое детство. Но мама думала иначе. Она знала об асоциальном поведении Петтера и до того, как он пошел в школу.

Первый раз ее вызвали для серьезного разговора еще в детский сад. Я просидел полдня, издали глядя, как играют другие дети. Я их не боялся. Мне просто нравилось смотреть, какой полной жизнью они живут. Многие дети любят наблюдать за котятками, канарейками или хомяками, я это тоже любил, но наблюдать за живыми детьми было куда забавнее. Кроме того, это я управлял ими, я решал, что они должны делать и говорить. Они этого не знали, не знала этого и наша воспитательница. Иногда у меня поднималась температура, я оставался дома и слушал биржевые сводки. В такие дни в детском саду ничего интересного не происходило. Дети то снимали, то надевали комбинезоны. Я им не завидовал. Может быть, они даже не завтракали.

Отца я видел только по воскресеньям. Мы с ним ходили в цирк. Вот где было здорово! А дома я устраивал свой цирк. Он был куда лучше настоящего. Тогда я еще не умел писать и создавал все в своем воображении. Это было не трудно. К тому же я рисовал

цирк — не только сам шатер и конюшни, но и всех животных и артистов. Вот это было гораздо труднее. Рисовать я не умел. И перестал рисовать задолго до того, как пошел в школу.

Я сидел на большом ковре почти не двигаясь, и мама много раз спрашивала меня, о чем я думаю. Я отвечал, что играю в цирк, и это была чистая правда. Она предлагала поиграть вместе во что-нибудь другое.

— Девушку, которая висит на трапеции, зовут Панина Манина, — сказал я. — Она дочь директора цирка. Но никто в цирке этого не знает, даже она сама, даже сам директор цирка.

Мама внимательно слушала, она приглушила радио, и я продолжал:

— Однажды Панина Манина упала с трапеции и сломала шею, это случилось на последнем представлении, на котором уже почти не было зрителей. Директор цирка наклонился над несчастной девушкой и заметил у нее на шее тонкую цепочку. На цепочке висел амулет из янтаря с пауком внутри, которому было много миллионов лет. Тогда директор цирка понял, что Панина Манина — его дочь, он сам купил для нее этот редкий амулет в тот день, когда она родилась...

— По крайней мере, он хотя бы узнал, что у него была дочь, — прервала меня мама.

— Да, но он думал, что она утонула, — сказал я. — Дочь директора цирка упала в Акерсэльву, когда ей было полтора года. Тогда ее звали просто Анне-Лисе. И директор цирка даже не подозревал, что она осталась в живых.

Мама сделала большие глаза, как будто не верила тому, что я рассказываю. Поэтому я объяснил:

— Но, к счастью, ее вытащила из воды одна гадалка, которая жила одна в Ньюдале в розовом жилом автоприцепе, и с того дня дочь директора цирка стала жить вместе с гадалкой в ее домике на колесах.

Мама зажгла сигарету. На ней был облегающий фигуру костюм, она повернулась ко мне:

— Они и в самом деле жили в автоприцепе?

Я кивнул:

— Дочь директора цирка жила в цирковом трейлере с первого дня жизни. Поэтому ее нисколько не удивило, что она вдруг снова оказалась в прицепе, похожем на современную квартиру. Гадалка не знала, как зовут девочку, и назвала ее Паниной Маниной, и это имя дочь директора цирка носила до последнего дня.

— А как она снова попала в цирк? — спросила мама.

— Она же выросла, — сказал я. — Это понятно. И сама пришла в цирк. А что тут удивительного? Ведь она не была парализована!

— Но она не могла помнить, что директор цирка ее отец! — не сдавалась мама.

Я расстроился, мама не первый раз огорчала меня, иногда она слишком придиралась к мелочам.

— Я тебе уже объяснил: она не помнила, что ее отец был директором цирка, он и сам не знал, что она его дочь. Он не мог узнать в ней свою дочь, ведь в последний раз он видел ее, когда ей было полтора года.

Мама полагала, что мне следует еще подумать над моей историей, но она ошибалась. Я сказал:

— В тот день, когда гадалка вытащила из воды дочь директора цирка, она посмотрела в свой хрустальный шар и предсказала, что эта девочка станет знаменитой циркачкой, и вот в один прекрасный день

девушка сама пришла в цирк. Исполнилось все, что гадалка увидела в своем хрустальном шаре. Поэтому она и дала девочке такое звучное имя, а еще она на всякий случай научила ее исполнять несколько номеров на трапеции.

Мама смяла сигарету в пепельнице, стоящей на зеленом пианино. Она сказала:

— Но зачем гадалке понадобилось учить девочку...

Я не дал ей договорить:

— Когда Панина Манина пришла в цирк и показала там свое мастерство, ее сразу приняли в труппу, и вскоре она стала такой же знаменитой, как Эбботт и Костелло², хотя директор цирка по-прежнему не догадывался, что она его родная дочь. Если бы он это понял, то, конечно, не допустил бы, чтобы она исполняла самый опасный номер в программе.

— Ладно, с меня хватит, — сказала мама. — Давай лучше погуляем в парке.

Но я продолжал:

— Вообще-то, гадалка видела в своем хрустальном шаре, что Панина Манина сломает себе шею во время выступления и никто не сможет помешать тому, чтобы это предсказание сбылось. Поэтому она быстро собрала свои вещи и укатила в Швецию.

Мама зачем-то вышла на кухню. Теперь она стояла перед пианино с большим кочаном капусты в руках, во всяком случае, это был не хрустальный шар.

— А зачем она уехала в Швецию?

Это я уже продумал.

— А затем, — сказал я, — чтобы директор цирка не стал с нею спорить, у кого будет жить Панина

² Американский комедийный дуэт, выступавший в 1930-е годы.

Манина, когда сломает себе шею и окажется парализованной.

— А гадалка знала, что директор цирка — отец девушки? — спросила мама.

— Нет, она узнала это, лишь когда Панина Манина начала там выступать, — уточнил я. — Увидев в хрустальном шаре, что девушка соединится с отцом, когда сломает себе шею, гадалка собрала свой прицеп и уехала в Швецию. Она была рада, что в конце концов Панина Манина вернулась к отцу, хотя то, что девушке предстоит сломать шею, гадалке не нравилось, ведь директор цирка не знал, что Панина Манина его дочь.

Продолжения я еще не придумал. Не потому, что это было трудно, напротив, у меня был слишком большой выбор. Я сказал:

— И теперь Панина Манина сидит в инвалидном кресле в цирке и продает сахарную вату. Эта вата особенная: каждый, кто поест ее, так смеется над клоунами, что просто задыхается от смеха. Один мальчик там чуть не задохнулся. Он так смеялся, что едва не умер, и тогда всем стало уже не до смеха.

На этом кончалась история о Панине Манине. Я уже начал рассказывать о мальнике, который чуть не задохнулся от смеха. Кроме того, я должен был подумать и о других артистах. Ведь я отвечал за весь цирк.

Мама этого не знала. Она спросила:

— А разве у Панины Манины не было матери?

— Нет! — почти закричал я. — Ее мать умерла!

И я заплакал, я плакал целый час. Как всегда, мама стала утешать меня. Но я плакал не потому, что история о Панине Манине была такая грустная. Меня пугала собственная фантазия. А еще я боялся маленького человечка с бамбуковой палкой. Пока я рассказывал,

он сидел на персидском пуфике и смотрел на мамин проигрыватель, но потом начал ходить по комнате. Видеть его мог только я.

Первый раз я увидел его во сне. Но он вышел из сна и с тех пор преследует меня всю жизнь. Он думает, будто это он управляет всеми моими поступками.

Фантазировать легко, это все равно что танцевать на тонком льду, делать пируэты на тонкой пленке льда над бездонной глубиной. Там, подо льдом, неизменно таится что-то холодное и темное.

Мне всегда было легко отличить фантазию от действительности. Но отличить запомнившуюся фантазию от запомнившейся действительности трудно. Это совсем другое дело. Я всегда знал разницу между тем, что наблюдал в действительности, и тем, что мне пригрезилось. Но со временем проводить грань между тем, что случилось на самом деле, и тем, что я придумал, становилось все труднее и труднее. То, что ты видел и слышал, и то, что придумал, не разложено в памяти по разным полочкам. Все, что я действительно пережил в прошлом, и все, что имело место только в моем воображении, сливалось в прекрасное единое целое, которое и называется памятью. И все-таки мне кажется, что она подводит меня, когда я нечаянно смешиваю эти две категории. Иногда это происходит из-за путаницы в формулировках.

Если я вспоминаю что-то придуманное как действительное событие, это потому, что у меня слишком хорошая память. Всякий раз, когда мне удавалось восстановить события, которые происходили только в моем воображении, я считал это победой над памятью.

Я часто оставался дома один. Мама до позднего вечера работала в ратуше, а иногда уходила в гости к подругам. Товарищей у меня не было, я прекрасно обходился без них. Игры с мальчиками меркли перед тем, что я придумывал для себя сам.

Лучше всего мне было в своем собственном обществе. Те редкие часы, когда мне было скучно, прошли как раз в обществе моих ровесников. Я помню вялые игры и глупые приставания детей. Бывало, я говорил, что должен бежать домой, потому что к нам сейчас придут гости. Конечно, это была ложь.

Никогда не забуду первый раз, когда несколько мальчиков позвонили к нам в дверь и позвали меня гулять. Одежда на них была грязная, у одного текло из носа, и они интересовались, не хочу ли я поиграть с ними в индейцев и ковбоев. Я сказал, что у меня болит живот. Иногда я придумывал и более веские причины. Меня не привлекали игры в индейцев и ковбоев среди автомобилей и сушилок для белья. Мне было интереснее играть в эту игру в воображении, там я как хотел распоряжался лошадьми, томагавками, ружьями, стрелами, ковбоями, индейскими вождями и шаманами. Сидя в гостиной или на кухне, я, не пошевелив пальцем, разыгрывал красочные битвы между индейцами и белыми, всегда принимая сторону краснокожих. Сегодня почти все выступают на стороне индейцев, но уже поздно. А я даже в три-четыре года уже умел дать янки должный отпор. Если бы не я, сегодня, возможно, не было бы ни одной индейской резервации.

Мальчики и потом не раз пытались втянуть меня в свои игры, они хотели, чтобы мы били «чеканку», играли в «ножички», в футбол или стреляли рябиной из трубки. Но их приставания вскоре прекратились.

С тех пор как мне стукнуло восемь или девять лет, по моему, больше уже никто не звал меня играть. Случалось, правда, я садился в кухне у окна, спрятавшись за жалюзи, и подсматривал за своими ровесниками, иногда это меня развлекало, но потребности участвовать в их играх я никогда не испытывал.

Лишь с половым созреванием все изменилось. Начиная с двенадцати лет я думал только о том, что можно проделать с девочкой моего возраста или даже значительно старше. Я не находил себе места от желания, мучившего меня постоянно, но ни разу ни одна девочка не пришла ко мне и не позвала гулять. Я бы не имел ничего против прогулки по лесу или у пруда с тритонами в компании девушки, которая мне нравилась.

Я не чувствовал себя одиноким, пока во мне не проснулось желание. Одиночество и желание — две стороны одной медали.

Когда я оставался дома один, я часто пользовался телефоном, в основном для того, что называл «глупыми разговорами». Первым в моем списке «глупых разговоров» значился вызов такси. Один раз я вызвал шесть машин на один и тот же адрес, к дому на другой стороне нашей улицы. Мне доставляло удовольствие сидеть у окна кухни и смотреть на подъезжающие такси. Шоферы выходили из машин, перекидывались словами, полагая, что должны забрать гостей, сэкономивших вечер за чашкой кофе. В конце концов один из них пошел и позвонил в квартиру на первом этаже. Но никакой фру Нильсен в этом подъезде не было. Шоферы этого не знали, а я знал. Они еще постояли, размахивая руками, а потом разошлись по своим

машинам и быстро разъехались. Один из них, правда, остался и долго оглядывался по сторонам, как будто стоял на театральной сцене. Но публики он так и не увидел. Может, он думал, что на него смотрит Бог? Я сидел и наблюдал за ним в щелку между занавесками, мне было смешно, я попивал апельсиновый сок, но шофер как будто застыл на месте. Он мог бы по крайней мере выключить счетчик.

Мне нравилось вызывать такси и в другие части города. Смешно было думать, что машины трогаются с места и колесят по улицам, хотя я их и не видел. Я мысленно наблюдал за ними, и это было почти так же весело, как видеть их воочию. Несколько раз я вызывал также скорую помощь и пожарных. Однажды я позвонил в полицию и сказал, что видел в саду возле порта мертвого человека. Они спросили, как меня зовут, где я живу и в какой школе учусь. Я им чего-то наплел, это было не трудно. Я знал, что полицейская машина проедет мимо нашего дома, чтобы попасть в тот сад. Они примчались уже через восемь минут, через две минуты после них приехала скорая помощь. Это были мои машины.

И ездили они на самом деле, это не в моем воображении, я в этом уверен. Черный телефонный аппарат на столике в коридоре постоянно искушал меня. Несколько раз я усаживался в кресло перед телефоном и набирал номер наугад. До четырех мне почти всегда отвечали женщины, и тогда я, изменив голос, спрашивал, например, сколько раз они трахаются со своими мужьями. И не трахаются ли с кем-нибудь еще. Или выдавал себя за советника фирмы «Саба де люкс». Обычно я записывал, сколько прошло времени, прежде чем женщины прерывали разговор. Как правило, он длился всего несколько секунд, но однажды,

проговорив с какой-то теткой больше получаса, я первым потерял терпение и ляпнул ей что-то столь дерзкое, что она поневоле повесила трубку, воскликнув: «Какая наглость!» Никакая не наглость, подумал я, и она дала отбой. Думаю, она была даже рада поболтать со мной более получаса.

Иногда я рассказывал этим женщинам длинные истории. Например, что мои родители уехали в Лондон на английском пароме и оставили меня дома одного на девять дней, хотя мне всего семь лет. Правда, мы купили холодильник и мама оставила мне много-много еды, но я ничего не ем, потому что боюсь порезаться острым кухонным ножом. Или я мог начать разговор с того, что мой папа уехал охотиться на куропаток, а мама лежит больная и не может даже разговаривать. Мне оставалось только назвать себя и свой адрес, и я получил бы любую помощь и поддержку. Но я не мог сообщить им о себе столь деликатные сведения. Тогда я говорил, что это некий человек заставляет меня звонить для развлечения. Росту в нем не больше метра, он носится по квартире и может побить меня своей тростью, если я не сделаю того, что он мне велит.

Однажды мама пожаловалась, что наш телефонный счет слишком велик. Это вывело ее из себя, и тогда я во всем признался. Сказал, что обычно звонил, чтобы узнать время, хотя и знал его. Иногда я звонил туда много раз подряд просто от скуки. Я притворился, будто не знал, что точное время сообщает автоответчик, а не живая женщина, мне так хотелось поговорить с ней, вот я и названивал туда без конца. Когда я признался, мама простила меня. На это я и рассчитывал. Мы договорились, что отныне я не буду звонить чаще двух раз в день, и я сдержал слово, я даже не воспринял

это как наказание. Теперь я был вынужден хорошо подумать, с кем бы поговорить. Мне сразу стало легче. Думать над тем, кому позвонить, было почти так же интересно, как разговаривать. С тех пор наши телефонные счета не превышали нормы.

Я почти уверен, что однажды разговаривал с премьер-министром Эйнаром Герхардсеном. Хотя, может, это было воспоминание о том, что я когда-то себе вообразил. Но зато я твердо уверен, что как-то раз позвонил на фабрику «Нура» и пожаловался, что их прохладительный напиток «соло» оказался кислым, как уксус. Это я помню точно, потому что через несколько дней перед нашей дверью оказался ящик с бутылками «соло». Я сказал маме, что выиграл его на конкурсе, устроенном одним торговцем. Мама задала мне множество вопросов, и это было прекрасно, потому что мне пришлось придумывать ответы. По-моему, маме тоже нравились такие интеллектуальные разговоры. Она не сдавалась, пока у нее не оставалось сомнений в том, что я говорю правду.

А как-то раз у меня состоялся интересный разговор с королем Улавом. Мы договорились совершить вместе долгую лыжную прогулку, потому что и ему, и мне не с кем было пройтись на лыжах. Он признался, что быть королем скучно, а потом спросил, не сочту ли я ребячеством, если он купит себе очень большую электрическую железную дорогу и установит ее во дворце, в бальном зале. Я заверил его, что, по-моему, это прекрасная мысль, если только мне будет разрешено прийти и помочь ему устанавливать эту железную дорогу. Он пообещал, что дорога будет от Мерклина³,

³ Немецкая фирма, прославившаяся своими механическими игрушками.

а это означало, что поезд будет в четыре раза больше того, что выставлен в Техническом музее. Я знал, что король гораздо богаче Технического музея. У меня был и паровоз, и конструктор «Мекано», но электрической дороги от Мерклина у меня не было.

Я на девяносто девять процентов уверен, что история с королем — запомнившаяся фантазия. Но отсюда не следует, что это неправда. Электрическая дорога, которую мы с королем собрали во дворце на следующей неделе, такая же настоящая, как луна и солнце. Я до сих пор вижу ее во всех подробностях, вижу туннели и переезды через горы, пересечения путей, стрелки и рельсы. У нас было больше пятидесяти разных локомотивов, и почти все с фонариками.

Однажды в бальный зал пришел кронпринц и потребовал, чтобы мы убрали железную дорогу, потому что он всегда устраивал в этом зале свои вечеринки, принц был на пятнадцать лет старше меня, и я очень уважал его, но мне показалось недопустимым, что он позволяет себе командовать королем. Как бы то ни было, это нарушало все правила и обычаи. Поскольку мы с королем не согласились сразу убрать нашу железную дорогу, кронпринц вскоре вернулся с бутылкой кефира и швырнул ее на дорогу. Бутылка, конечно, разбилась, и кефир потек по полу, все это напоминало зимний пейзаж, но пахло совсем не так, как на Холменколлен по воскресеньям. С тех пор поезда во дворце остановились навсегда.

* * *

Мама работала в ратуше и потому часто получала билеты в кино или в театр. Она всегда брала два билета, и, поскольку они с отцом не выносили даже вида друг друга, с мамой обычно ходил я. Это избавляло

ее от необходимости вызывать на дом няньку, чтобы не оставлять меня одного. Я извел не одну няньку.

Собираясь в театр, мы всегда надевали что-нибудь самое нарядное, и мама устраивала мне показ мод, прежде чем решить, какое платье или костюм она наденет. Меня она называла своим маленьким кавалером. Это я снимал с нее пальто и отдавал его гардеробщику. Это у меня в кармане пиджака лежали спички, и я давал ей прикурить, а когда она с кем-нибудь заговаривала, я становился в очередь и покупал нам что-нибудь попить. Однажды я хотел купить стакан «соло» для себя и бокал чинзано для мамы. Но буфетчица отказалась продать мне вино, хотя мама стояла всего в нескольких метрах от буфета и кивала ей. Буфетчица сказала, что не имеет права продавать вино детям, так что маме пришлось самой подойти к стойке и взять бокал. Она очень рассердилась. На вечерних представлениях детей в театре почти не было, и мама понимала, что буфетчица знает, кто я.

После посещения кино или театра я всегда рассказывал маме, как можно было бы улучшить фильм или пьесу. Иногда я прямо говорил, что считаю пьесу плохой. Я никогда не называл спектакли скучными, потому что в театре скучно не бывает. Меня занимал даже плохой спектакль: все-таки в нем выступали живые люди, а если пьеса оказывалась из рук вон скверной, я и тогда внакладе не оставался — у нас было о чем поговорить по дороге домой.

Маме не нравилось, если я называл пьесу плохой. Мне кажется, она предпочитала, чтобы я назвал ее скучной.

Вернувшись домой из кино или из театра, мы с мамой нередко засиживались на кухне, продолжая начатый разговор. Мама зажигала свечу и готовила

что-нибудь вкусное. Это могли быть обыкновенные бутерброды с сервелатом и маринованным огурцом, но нашим любимым блюдом были бутерброды «тар-тар» с рубленным мясом, сырым желтком и каперсами. Мама считала, что я еще слишком мал для каперсов, об этом мы тоже говорили не раз, но, думаю, в глубине души ей нравилось, что я, несмотря на свой юный возраст, люблю каперсы. Ей не нравилось только одно: когда я говорил, что пьеса плохая или что режиссер никуда не годится.

Я всегда очень внимательно читал программки, ведь их писали и для меня, и я знал фамилии ведущих актеров. Знал и всех художников-постановщиков — мама считала, что это уже слишком. Но я был ее кавалером, и ей приходилось с этим мириться. Во время представления я иногда называл ей помощника режиссера, особенно если спектакль шел не совсем гладко.

Однажды во время представления «Кукольного дома»⁴ Нора потеряла платье — оно просто соскользнуло с нее на глазах у доктора Ранка. Они были на сцене одни, и последняя реплика доктора Ранка усилила комический эффект от того, что Нора потеряла платье именно в этой сцене. «И какие же еще прелести я увижу?» — спросил доктор Ранк. «Вы больше вообще ничего не увидите, потому что вы невоспитанный человек», — ответила Нора. Она вырвалась из рук доктора, и в эту минуту с нее упало платье. Тогда я наклонился к маме и прошептал ей на ухо, кто в этот вечер был костюмером.

Однажды мы с мамой засиделись далеко за полночь, обсуждая один спектакль, и я сказал ей, что,

⁴ Пьеса Хенрика Ибсена.

по-моему, она похожа на Жаклин Кеннеди. Маме это понравилось, но я сказал это не для того, чтобы ей польстить, она действительно была похожа на Жаклин Кеннеди.

Когда мне было одиннадцать лет, мы с мамой смотрели фильм Чаплина «Огни рампы». Я был уже достаточно взрослым для этого фильма. Первый раз я понял, что мог бы придумать, что делать с девушкой, которая значительно старше меня, когда увидел Клер Блум в роли несчастной танцовщицы. Потом я это понял, когда увидел Одри Хепберн в роли Элизы в «Моей прекрасной леди». Мама раздобыла нам билеты на премьеру этого фильма в Норвегии.

Чаплина я особенно любил, как и музыку к его фильмам, а больше всего известную мелодию из «Огней рампы», хотя ее первые такты — зеркальное отражение интродукции к фортепианному концерту Чайковского си-бемоль минор. Не намного лучше обстоит дело и с мелодией «Улыбка» из «Новых времен»: она представляет собой минорную вариацию на тему русской народной песни. Подозреваю, что Чаплин, кроме того, украл несколько музыкальных идей и у Пуччини, во всяком случае, он столь же мелодраматичен. Но это только плюс, что Чаплин черпал вдохновение в музыке других композиторов, потому что я любил и Чайковского, и Пуччини, и мама тоже. Мы с мамой слушали «Чио-Чио-сан». Я с трудом сдерживал слезы. Но я сидел с комком в горле не потому, что Пинкертон бросил мадам Баттерфляй, и не потому, что она в конце покончила жизнь самоубийством, — что она покончит с собой, я понял с самого начала второго действия. Мне хотелось плакать из-за самой музыки, уже с той минуты в первом действии, когда мадам Баттерфляй поднимается на холм

в сопровождении женского хора. Мне было всего двенадцать лет, но вереница женщин с цветными зонтиками, которые поют, идя по тропинке из Нагасаки, до сих пор стоит у меня перед глазами.

Дома я слушал на проигрывателе «Богему» с Юсси Бьёрлингом⁵ и Викторией де Лос Анхелес⁶, и, когда в четвертом акте Мюзетта появляется с больной Мими, мама всегда начинала хлюпать носом. Тогда я уходил в соседнюю комнату, но дверь за собой не закрывал. Не потому, что хотел послушать, как мама плачет, а потому, что слушал музыку. Может, я и сам ронял слезу от блаженства.

До того как я увидел «Огни рампы» Чаплина, Пуччини и Чайковский были единственными гениями, которых я знал. Оставаясь дома один, я слушал последнюю часть «Патетической симфонии». И очень стыдился, если об этом узнавала мама. Я был достаточно взрослый, чтобы любить каперсы, но должен признаться, что для классической музыки был еще маловат. Я включал проигрыватель на полную мощность, в то же время прислушиваясь к шагам на лестнице: не идет ли мама? Иногда маленький человечек становился у входной двери и слушал, нет ли кого на лестнице.

Я читал о Чайковском в энциклопедии. Всего через несколько дней после того, как впервые исполнили «Патетическую симфонию», он умер от холеры. Дело его жизни было завершено. После первого исполнения «Патетической симфонии» он уже не заботился о том, чтобы кипятить воду для питья. Он написал

⁵ Бьёрлинг, Юсси (1911–1960) — известный шведский тенор.

⁶ Виктория де Лос Анхелес (1923–2005) — испанская певица (сопрано).

свой реквием, и в душе у него больше не осталось музыки. Он рассчитался с этим миром. Мне тоже казалось, что я отчасти свел счеты с миром, когда умолкали последние звуки «Патетической симфонии».

О смерти мы с мамой никогда не говорили. И о девочках тоже. Столь же старательно, как скрывал, что слушал «Патетическую», я прятал от мамы «Коктейль-блад»⁷.

Мне было всего семь лет, когда я увидел фильм «К востоку от рая» с Джеймсом Дином⁸ в роли Кола. Мама чуть не умерла в конце фильма, где возлюбленная Кола умоляет его отца полюбить сына. «Очень больно, когда тебя не любят, — сказала она, — от этого человек становится злым. Покажите ему, что вы его любите! Попробуйте! Пожалуйста!»

Отец Кола ненавидел сына, потому что считал, будто мальчик принял сторону матери, которая бросила мужа, ребенка и стала холодной, расчетливой бандершей. Перед смертью отец все-таки успел примириться с сыном. Он попросил его выпроводить из дома сестру милосердия. «Я хочу, чтобы за мной ухаживал ты», — сказал он. А это было равносильно признанию в любви.

Маме было трудно говорить об этом фильме. Я понял, что она сама попросила отца уехать от нас. В те времена это было не очень принято. Не так уж часто мать указывала на дверь отцу своего маленького ребенка.

В тот вечер, когда я собирался ложиться спать, мама предложила, чтобы мы пригласили отца

⁷ Порнографический журнал.

⁸ Дин, Джеймс (1931–1955)—популярный голливудский актер, погиб в автокатастрофе.

на воскресный обед. Я считал ее предложение приемлемым, но за ним так ничего и не последовало, а я не хотел напоминать маме, чтобы она позвонила отцу и пригласила его к нам.

У меня остались слабые, почти призрачные представления о том, что с нами происходило до того, как от нас уехал отец. Можно хранить в памяти настроение сна, не помня его самого. Я знаю, что пытался забыть что-то холодное и жестокое, и я так преуспел, вытесняя это из своей памяти, что теперь решительно не помню того, что хотел забыть.

Помню только, что именно в то время мне стали сниться таинственные сны: мне снился человек моего роста, но то был не ребенок, а взрослый мужчина, в шляпе и с тростью, и вдруг в одно прекрасное утро он появился в нашей квартире. Он появился у нас примерно тогда, когда от нас уехал отец.

Я представлял себе, что в стране снов его кому-то не хватает. Может быть, этот человечек тоже бежал от жены и детей, или за недостойное поведение его выгнали из сказки, в которой он жил. А возможно, он просто переходил из одной действительности в другую. Мне было интересно, не пробирался ли мой человечек обратно в страну снов, пока я спал. Я бы этому не удивился, потому что сам попадал во сне в ту страну. Меня удивляло другое: как он мог разгуливать по нашей квартире среди бела дня?

* * *

В нашем классе только у меня одного родители были разведены. Правда, отец одной девочки был коммунистом, а отец Ханса Улава сидел в тюрьме.

Я не находил ничего особенного в том, что отец с мамой были в разводе. Я любил бывать с каждым

из них, но не одновременно. Кроме того, думаю, я получал больше подарков к Рождеству, чем другие дети. Я всегда получал два рождественских подарка. Мама даже тут не могла договориться с отцом, напротив, нужно думать, они состязались, стараясь перещеголять один другого. Друг другу они никогда ничего не дарили.

Отец брал меня смотреть состязания конькобежцев и прыжки с трамплина. Он знал время каждого спортсмена и особенно стиль. Не его вина, что я стал таким, каков есть. Мы были на Холменколлен и смотрели выступления трех «Т»: Туральфа Энгана, Турбьёрна Иггесета и Тургейра Брандцгега⁹. Они прыгали еще до Вирколы¹⁰. Это было легко. Прыгать до Вирколы мог каждый дурак.

Когда мне было восемь лет, мы с отцом поехали на датском пароме в Копенгаген. Мы пробыли в Копенгагене только один вечер, но зато весь его провели в «Тиволи». Я бывал в увеселительных парках и до этого, но копенгагенский «Тиволи» не имел ничего общего с «Тиволи Ивара» у нас в Тёйене. Я чувствовал себя туристом из отсталой страны. И с ужасом представлял себе, что датские дети подумают о норвежцах, если посетят «Тиволи Ивара» в Тёйене.

Отец был в прекрасном настроении, наверное, он гордился тем, что ему удалось увезти меня из страны, подальше от матери. На пароме он по-мужски сдержанно сказал, что маме будет полезно несколько дней

⁹ Известные норвежские лыжники. Туральф Энган (р. 1936) на зимней Олимпиаде 1964 года получил серебряную медаль за прыжки с трамплина. Тургейр Брандцег (р. 1941) на той же Олимпиаде получил бронзовую медаль.

¹⁰ Бьёрн Виркола (р. 1943) установил три мировых рекорда по прыжкам с трамплина.

пожить одной. Это была неправда, я чувствовал, что ей очень бы хотелось съездить со мной в Копенгаген, но об этом не могло быть и речи после того, как отец уже объявил, что в Копенгаген я поеду с ним. Думаю, отец понимал, что я предпочел бы посетить «Тиволи» с матерью. Мы бы ходили среди всех этих людей и рассказывали друг другу, что нам больше всего нравится и о чем мы думаем. Мы с мамой часто думали одинаково. Или просто сидели бы в кафе и болтали.

Карман у отца был набит датскими деньгами, и он хотел, чтобы мы покатались на автомобильчиках, на поезде привидений, на карусели, на американских горках, на колесе обозрения и проехали по туннелю любви. Мне было всего восемь лет, но я уже стыдился того, что еду с отцом по туннелю любви, к тому же у него плохо пахло изо рта. Мне было неприятно сидеть с ним в маленькой лодочке и слушать искусственный щебет птиц в туннеле, украшенном бумажными цветами и расписанном пастельными красками. Надо думать, отца это тоже изрядно смущало, во всяком случае, он все время молчал. Я боялся, что он вдруг обнимет меня или скажет, что здесь красиво: черт побери, как здесь красиво, Петтер, правда? Самое ужасное, я не сомневался, что именно это ему сейчас и хотелось сделать, он просто не смел обнять меня за плечи, понимая, что мне это не понравится. Может быть, именно поэтому мы оба молчали.

Я покатался на всех аттракционах, главным образом ради отца. Самому мне больше хотелось просто ходить по «Тиволи» и разглядывать все, что там было. Я решил разглядеть все вплоть до самой крошечной лотереи и палатки, торгующей колбасками. С первой минуты я уже знал, что это посещение потребует от меня потом напряженной работы, оно меня

вдохновило. Я думал, что, как только вернусь домой, открою у нас лучший в мире «Тиволи». К тому времени я уже перестал рисовать и потому старался точно запомнить, как все было устроено. В конце концов мне удалось составить точное представление о копенгагенском «Тиволи», но я был вынужден зарисовать его мысленно, заучить все наизусть. Мне было довольно трудно сосредоточиться, потому что время от времени приходилось смотреть на отца и отвечать на его вопросы; мне не хотелось, чтобы он подумал, будто я недоволен поездкой. Перед самым уходом я выиграл красного плюшевого тигренка. Я отдал его какой-то плачущей девочке. Отец решил, что я добрый мальчик, он не понял, что красный плюшевый тигренок мне просто ни к чему. Если бы мама увидела, что я выиграл, она бы умерла от смеха.

Еще в «Тиволи» я сконструировал поезд-привидение, начиная от качающихся скелетов и кончая привидениями с чудовищами. Но я также поместил в туннель и живого человека, обычного человека в шляпе и пальто, он мог бы стоять там и есть, к примеру, морковку. Мне казалось, что едущие в поезде должны закричать от страха, когда вдруг увидят в туннеле самого обыкновенного человека.

В некоторых случаях вид человека может испугать не меньше, чем вид призрака, во всяком случае в туннеле с привидениями. Призрак — это фантазия, а если в фантазию попадет что-то реальное, это пугает не меньше, чем явление духа в реальной действительности.

Я очень испугался, когда в первый раз увидел маленького человечка с бамбуковой тростью наяву, а не во сне, но вскоре привык к нему. Если бы неожиданно из леса выглянул эльф или тролль, мы бы,

конечно, струхнули, но рано или поздно привыкли бы к ним. Ничего иного нам бы не оставалось.

Однажды мне приснилось, что я нашел кошелек с четырьмя серебряными долларами. Я бы страшно удивился, если бы, проснувшись, обнаружил этот кошелек в своей руке. Мне пришлось бы попытаться убедить себя, что я сплю и должен проснуться еще раз.

Мы думаем, что бодрствуем, когда видим сны, но мы знаем, что бодрствуем, когда не спим. Я придумал теорию, что маленький человечек с бамбуковой тростью спит где-нибудь в стране снов и ему только снится, что он попал в нашу действительность. Уже там, в «Тиволи», я был значительно выше его. Я начал звать его Метром, поскольку он был не выше метра.

Я ничего не сказал отцу об этой поездке, жаловаться мне было не на что. Наверное, несправедливо, что все мое вдохновение досталось маме, она все больше ревновала меня к отцу, потому что он повез меня в Копенгаген.

— Ты просто заразился этим «Тиволи», — сказала она спустя несколько дней после моего возвращения.

— Мне кажется, что в прежней жизни я был большим «Тиволи», — вырвалось у меня.

Мама засмеялась.

— Ты хочешь сказать, что в прежней жизни работал в большом «Тиволи»? — спросила она.

Я покачал головой и уточнил, что сам был большим «Тиволи».

В детстве мальчишки часто лупили меня. Отец меня никогда не бил, мама тоже.

Думаю, это потому, что они были в разводе. Живя в разных квартирах, они никогда не могли

договориться, какие из моих проступков заслуживают наказания. Мама понимала, что тронь она меня хотя бы пальцем, об этом тут же узнает отец. Случалось, я звонил отцу и просил у него разрешения лечь на час или на два позже, чем того требовала мама. Он всегда вставал на мою сторону, зная, что одним своим словом может обрадовать меня и досадить маме, это доставляло ему удовлетворение. И когда мне требовалось больше денег, чем мне дала бы мама, я тоже звонил отцу. Он никогда на меня не сердился. Виделись мы с ним один раз в неделю. Нам казалось, что этого достаточно.

Доставалось мне от мальчишек в школе, но гордиться им было нечем: я не отличался ни завидным ростом, ни силой. Они звали меня Петтер Паук. Когда я был помладше, мы с отцом ходили в Геологический музей и видели там кусок янтаря, внутри которого застыл древний паук, ему было много миллионов лет, и однажды я рассказал про этого паука на уроке. Мы как раз изучали электричество, и я объяснил классу, что слово «электричество» происходит от греческого слова *elektron*, что означает «смола», то есть «янтарь». С тех пор я и получил прозвище Паук.

Хотя я и не вышел ростом, язык у меня был как бритва. За это мальчишки меня и били. Особенно здорово я огрызался, когда поблизости были взрослые или я собирался сесть в автобус либо же запереть за собой дверь подъезда. Иногда на меня находило такое вдохновение, что я забывал о завтрашнем дне. Я тогда даже не подозревал о существовании такого феномена, который сегодня называют планированием на перспективу, и мне было некогда подумать, чем все может для меня обернуться. Ведь я встречался с мальчишками каждый день. И не всегда рядом оказывались взрослые.

Я умел лучше постоять за себя, чем мои ровесники, и еще я лучше всех умел рассказывать всякие истории. Мне было легче находить нужные слова и выражения, чем ребятам, которые были даже на три или четыре года старше меня. Из-за этого я часто ходил в синяках. В то время никто не считался со свободой слова. В школе нас учили правам человека, но нам никогда не напоминали, что свобода слова не ограничивается ни для детей, ни среди них.

Однажды Рагнар толкнул меня на сушилку для белья и пробил мне голову. Пока у меня текла кровь, я посмел высказать многое, что обычно держал про себя. Я поведал несколько занимательных случаев из жизни семьи Рагнара, например что его отец постоянно выпивает вместе с бродягами, и Рагнар заткнулся. Он не смог даже возразить мне, потому что был тугодум, он только стоял и смотрел, как у меня из головы течет кровь. Тогда я сказал, что он трус и боится сказать мне, чтобы я заткнулся, а все потому, что я говорю правду. Я даже видел однажды, как он ел собачье дерьмо, сказал я. Потом матери пришлось его мыть на большом столе в гостиной, потому что он обделался и описался. Все знают, что его мать покупает в магазине бумажные подгузники, сказал я, она покупает их так много, что ей даже дают скидку. Кровь у меня шла все сильнее. Четверо или пятеро мальчишек с благоговением смотрели мне в рот. Я провел рукой по голове и почувствовал, что волосы у меня в крови. Меня зазнобило. Всем известно, что отец Рагнара приехал из деревни, сказал я. И я даже знаю, почему он приехал в город. Это тайна, которую, наверное, не знает и сам Рагнар, но я могу сейчас же выдать всем эту тайну. Отец Рагнара бежал из деревни в город, потому что ленсман хотел его арестовать — он трахал овец.

Многие овцы заболели от этого, по-настоящему заболели, и одна даже умерла. А таких вещей не прощают даже в Хаделанне, сообщил я своим слушателям. После этого они разбежались. Не знаю, что их больше напугало, хаделаннские овцы или кровь, которая текла у меня из головы. На асфальте у моих ног образовалась уже большая кровавая лужа. Меня поразило, что кровь в голове такая густая и тягучая, я думал, что она светлее и жиже, чем в других частях тела. На секунду я перевел взгляд на светящееся объявление над дверью в подвал. На нем большими буквами было написано: «Бомбоубежище». Я попытался прочитать это слово задом наперед, но от зеленых букв меня затошнило. Неожиданно из-за угла выскочил Метр, я был уже на полторы головы выше его. Он с огорчением посмотрел на меня, показал своей бамбуковой тростью на мою голову и воскликнул: «Ну вот! Что мы теперь будем делать?»

Мне было стыдно идти домой к маме, я знал, что она не выносит вида крови, во всяком случае моей. Но выбора у меня не было. Как только я вошел в квартиру, мама обмотала мне голову полотенцем, так что я стал похож на араба, а потом мы на такси поехали в больницу скорой помощи. Мне наложили двенадцать швов. Врач сказал, что это был рекорд на тот день. Потом мы вернулись домой и ели блины.

Это воспоминание о действительном событии. У меня до сих пор сохранился широкий шрам у корней волос над левым глазом. Это не единственный шрам, который я заработал, у меня много таких «особых примет». Теперь их хотя бы перестали перечислять в паспортах.

Разумеется, мама захотела узнать, что случилось. Я объяснил, что подрался с одним незнакомым

мальчишкой, потому что он сказал, будто мой папа трахает овец. На этот раз мать милостиво отнеслась к отцу. Обычно она первая возводила на него всякую напраслину, но ведь всему есть предел. Думаю, ей понравилось, что я вступился за честь отца.

— Я понимаю, почему ты рассердился, Петтер. Так говорить неприлично. Я согласна с тобой. — Больше она ничего не сказала.

Я никогда не ябедничал. Ябедничать — все равно что передразнивать настоящее событие. А это уже пошло. Ябедничают или дерутся те, кто не умеет дать отпор словом.

* * *

Меня стали меньше бить после того, как нам в школе начали задавать уроки на дом. Потому, что я помогал ребятам с уроками. Я никогда не делал школьных заданий вместе с классом, это было слишком скучно, к тому же я боялся, что у меня появятся товарищи. Но, сделав свое задание, я все чаще выполнял еще два или три варианта. Эти работы я отдавал или продавал за шоколадку или мороженое тем, кому они были нужны.

Как правило, мы могли выбирать из трех или четырех тем для сочинения. Когда я однажды написал сочинение, которое называлось «Почти как в сказке», мне захотелось написать еще одно, на тему «Когда погас свет». Второе сочинение можно было отдать Туре или Рагнару.

Это был хитрый ход с моей стороны, теперь Туре и Рагнар перестали меня бить. Конечно, они оставили меня в покое не из благодарности. Наверное, просто боялись: а вдруг я на весь класс объявлю, что пишу за них сочинения. Сам я этого не боялся. Не моя вина,

если нам не разрешается сдавать больше одной работы. Да и не я сдавал их сочинения. Туре и Рагнар, конечно, их переписывали. Без этого было не обойтись.

Я не размахивал лишними сочинениями, но постепенно ко мне стали подходить некоторые одноклассники, желавшие купить мою помощь. Начинались переговоры, и речь далеко не всегда шла о деньгах или шоколаде, находились и другие формы расчета. Иногда хватало нескольких неприличных слов, сказанных вслух на уроке труда, или снежка, положенного на учительский стул. Помню, за помощь в приготовлении домашних заданий я потребовал, чтобы заказчик расстегнул бюстгальтер на одной из девочек. Несколько девочек в нашем классе уже начали носить бюстгальтеры, но они не относились к числу первых красавиц. Если ответные услуги не оказывались, должник понимал, что попадает в зону риска: ведь я мог рассказать учителю, что делал уроки за Эйвинда или Ханса Улава.

Моя помощь не ограничивалась только норвежским языком. Я мог написать дополнительную работу по географии, Закону Божьему, домоводству или математике. Но они должны были отличаться от моих собственных. Сначала я делал свою работу по математике без единой ошибки. Потом мне уже не составляло труда выполнить еще пару заданий, но теперь я был вынужден допустить в примерах одну или две ошибки. Никто бы не поверил, что Туре способен приготовить домашнее задание без единой ошибки. Он оставался доволен, получив «хорошо с плюсом», так что мне приходилось делать работу на «хорошо с плюсом». Если кто-то еще хотел получить от меня работу на «хорошо с плюсом», я выполнял и этот заказ, но ошибки, разумеется, были разные.

Нередко случалось, что я выполнял работу всего на «удовлетворительно» или на «удовлетворительно с плюсом». На этом рынке многое приходилось учитывать. Я прекрасно понимал, что Арне или Лисбет ни за какие деньги не напишут работу лучше, чем на «удовлетворительно с плюсом» или на «хорошо с минусом». Вообще-то, я никогда не брал плату за работы, написанные на «удовлетворительно», — всему должна быть мера. Я считал достаточным вознаграждением уже то, что выполнял эти задания. Мне особенно нравилось делать работы с ошибками. Они требовали больше изобретательности, чем работы без ошибок. Они требовали воображения.

Когда я действительно нуждался в деньгах, а родители, в виде исключения, договаривались не давать мне карманных денег больше, чем полагалось на неделю, мне случалось продавать работы, написанные на «очень хорошо» и даже на «очень хорошо с плюсом». Если не ошибаюсь, один раз я выдал работу по географии, получившую «отлично», я сделал это для Хеге, которая победила на конкурсе в школе танцев «Осе и Финна» и теперь упражнялась как сумасшедшая, готовясь к конкурсу на исполнение самбы и ча-ча-ча. Я даже допустил ошибку или две в своей собственной работе, чтобы получить «хорошо с минусом» и не затмить работу Хеге. Учитель написал мне: «Недостаточно сосредоточился, Петтер» — или что-то в этом роде. Это было смешно. Уже в начале шестидесятых годов некоторые учителя ввели то, что позже стали называть дифференциацией. Его замечание и было таким дифференцированным комментарием, сообщавшим, что автору работы, написанной на «хорошо с плюсом», не хватило сосредоточенности. Если бы это была работа Лисбет, он написал бы:

«Поздравляю, Лисбет! Очень серьезная домашняя работа». Учитель не понял, что я допустил ошибку сознательно, ради забавы. Не догадался, что я сжульничал, чтобы получить отметку похуже.

Кончилось тем, что Хеге пришлось прочитать свое великолепное сочинение по географии всему классу, на это она вряд ли рассчитывала, но учитель потребовал, чтобы она тут же села за кафедру.

Сам он спустился с возвышения и сел за ее парту, она была рядом со мной. Я сидел на третьей парте в среднем ряду, а Хеге — за партой справа от меня, но теперь это место, как уже сказано, занял учитель. И Хеге начала читать. Обычно она читала вслух лучше всех в классе, но в тот раз почти шептала, так что учитель попросил ее читать погромче. Хеге подчинилась, но вскоре снова перешла на шепот, и ей пришлось читать все заново. Время от времени она поглядывала на меня, и один раз я незаметно сделал ей знак, подняв вверх большой палец. Когда она кончила читать, учитель зааплодировал — не чтению Хеге, но содержанию ее сочинения, и потому я тоже зааплодировал. Пока Хеге спускалась с кафедры, я спросил у учителя, не осталось ли у нас времени посмотреть, как Хеге танцует ча-ча-ча, но учитель весело ответил, что это мы отложим на другой раз. Помоему, Хеге хотела построить мне рожу, но не решилась. Наверное, побоялась, что я опозорю ее, объявив на весь класс, кто так галантно помог Хеге с сочинением, потому что ей надо было много упражняться перед конкурсом в школе танцев. Об этом, впрочем, не могло быть и речи — Хеге безоговорочно расплатилась со мной так, как мы и договаривались: я получил от нее две кроны пятьдесят эре. Похоже, правда, это ее не успокоило. Она не знала, было ли у меня

заведено помогать одноклассникам с домашними заданиями. Я уже не в первый раз сидел и слушал, как мои опусы читают с кафедры, и не могу сказать, что это не доставляло мне удовольствия, я от души наслаждался. Я был хорошим помощником. И брал на себя ответственность за весь класс.

Перейдя в реальное училище, мы с Хеге снова оказались в одном классе и в первый же год заключили забавное пари. Наш педагог Лайла Нипен выиграла по облигации выигрышного займа крупную сумму и приобрела себе новенький «Фиат-500», и тогда я подговорил нескольких ребят пронести этот маленький автомобильчик через широкие входные двери школы и поставить его в актовом зале. Хеге эту мысль одобрила, но не поверила, что мы решимся на столь дерзкий поступок. Тогда я предложил ей совершить со мной романтическую прогулку по лесу, если «фиат» Лайлы появится в актовом зале еще до конца недели. В противном случае я должен буду делать за нее задания по математике в течение месяца. Через пару дней автомобиль стоял в актовом зале, вся операция заняла десять минут, мы провернули ее на большой перемене, зная, что учителя заняты на педагогическом совете. У нас даже хватило смелости перевязать крохотный красный автомобильчик голубой шелковой лентой, чтобы он выглядел как настоящий выигрыш. В школе так никогда и не узнали, кто стоял за этой хулиганской проделкой, но теперь Хеге пришлось пойти со мной в лес. Она даже не пыталась уклониться от того, что обещала ей эта «романтическая» прогулка. Хеге была не дура и сразу разгадала мою хитрость, и как бы там ни было, а организовал перенос автомобиля в школьный актовый зал я только ради нее. К тому же, думаю, я ей нравился.

Мы устроились под открытым навесом рядом с Линдерюдколленом. Я впервые оказался наедине с обнаженной девушкой. Нам обоим было по четырнадцать лет, но она была уже настоящая женщина. Мне казалось, что никого прекраснее я в жизни не видел.

Случалось, я помогал и учителям. Я постоянно подсовывал им интересные темы для сочинений и других домашних заданий. Несколько раз я предлагал учителю свою помощь в проверке классных работ по математике. Или просил уточнить и углубить то, о чем он говорил на уроке. Если, например, мы проходили историю Египта, я просил учителя рассказать классу о Розеттском камне. Не будь этого камня, ученые никогда бы не смогли прочесть иероглифы, объяснил я, и тогда бы мы ничего не узнали о древних египтянах. Когда учитель рассказывал нам о Копернике, я попросил его уделить также немного внимания Кеплеру и Ньютону, ведь известно, что не все предположения Коперника оказались верны.

Уже в одиннадцать-двенадцать лет я был очень начитанным мальчиком. Дома у нас были энциклопедии «Аскехауг» и Салмунсена — всего сорок три тома. У меня было три способа работы с энциклопедиями. В зависимости от настроения я пользовался одним из них. Иногда я находил статью на определенную тему и прибавлял к ней то, о чем уже давно думал сам, иногда часами сидел и читал все подряд или то, что попадется на глаза, а иногда изучал целый том с первой и до последней страницы, например том XII энциклопедии «Аскехауг» от kvam до madeira или том XVIII энциклопедии Салмунсена от NORLANDSBAAD до PERLEØERNE. Кроме того, на книжных полках в гостиной у мамы стояли десятки других интересных книг. Особенно меня

интересовали толстые монографии. Например: «Мир искусства», «Мир музыки», «Человеческое тело», «История мировой литературы» Франсиса Булля, «История норвежской литературы» Булля, Поше, Винсенса и Хуема и «Этимологический словарь норвежского и датского языков» Фалька и Торпа. Когда мне было двенадцать лет, мама купила «Мою жизнь» Чарли Чаплина, и, хотя автор был немного необъективен, эта книга тоже стала для меня своеобразной энциклопедией. Мама вечно требовала, чтобы я ставил книги обратно на полки, и однажды запретила брать к себе в комнату больше четырех томов одновременно. Она не понимала, как важно сравнивать освещение одного и того же вопроса в разных изданиях. Не думаю, чтобы мама критически относилась к источникам.

После того как на уроках Закона Божьего учитель рассказал нам о пророках, я попросил его открыть Книгу пророка Исаии, главу 7, стих 14, и объяснить разницу между «девой» и «молодой женщиной». Потому что учитель, конечно, знает, что в этом стихе на иврите употреблено слово, которое и означает «молодая женщина». Об этом я случайно прочитал в энциклопедии Салмунсена. Но Матфей и Лука, очевидно, не очень внимательно изучили основной древнееврейский текст, сказал я. Возможно, они ограничились греческим переводом, который называется Септуагинта — мне это название казалось смешным. Септуагинта по-латыни означает «семьдесят», и первый греческий перевод Ветхого Завета называли так, потому что он был выполнен семьдесятю учеными евреями за семьдесят дней. Все это я выложил учителю.

Учитель не всегда одинаково высоко ценил мои дополнения к его урокам, хотя я старался не поправлять

его, когда он просто допускал ошибки. Но когда я осмелился напасть на самое догму непорочного зачатия, сказав, что считаю ее переводческим ляпсусом, допущенным в Септуагинте, он оказался связанным учением Церкви и задачей, стоящей перед школой. Он постарался заткнуть мне рот и в тот раз, когда я совершенно невинно заметил, что, если верить Евангелию от Иоанна, Христос вершил свои деяния более трех лет, тогда как другие евангелисты отводят им всего год.

Когда мы изучали строение человеческого тела, мне было очень неприятно, что учитель называет известную часть тела словом «писька», во всяком случае рассказывая про оплодотворение. Я сказал, что слово «писька» уже давно не в ходу, особенно если речь идет о сексе.

— Какое же слово, по-твоему, я должен употребить? — спросил учитель.

Он был понятливый человек, к тому же сильный и очень высокий — в нем было почти два метра, — но тут он по-настоящему растерялся.

— Не знаю, — ответил я. — Просто вам следовало найти другое слово. Но попытаться избежать латинского названия, — прибавил я под конец.

Я никогда не давал учителям таких советов во время урока. У меня не было намерения показать всем ученикам, что я умнее их, а порой умнее и самого учителя. Я позволял себе давать им свои дружеские советы только на школьном дворе либо же по дороге в класс или из класса. И делал это отнюдь не для того, чтобы произвести впечатление или показать, будто я интересуюсь их предметом больше, чем на самом деле. Скорее наоборот, время от времени я изображал, что предмет вообще мало меня интересует, так

мне казалось смешнее. Думаете, мною руководила чистая благожелательность? Нет, конечно.

Я давал учителям добрые советы и делал подсказки исключительно потому, что мне была интересна их реакция. Мне нравилось наблюдать за поведением людей. Нравилось смотреть, как они начинают метаться.

* * *

Каждую субботу я слушал по радио детскую передачу, и не только я. Все норвежские дети слушали эту передачу. Позже я познакомился с официальной статистикой, которая утверждала, что с 1950 по 1960 год девяносто восемь процентов норвежских детей слушали по субботам детскую передачу. Это слишком консервативная оценка.

Мы жили в пространстве, которое социологи называют культурным единством. Каждый уважающий себя человек знал Стомпу, «Путь в Агру», «Карлсона на крыше» и «Маленького лорда Фаунтлероя». Все читали «Детей Бобсей», «Фрекен Детектив» и «Пять книг». Мы были воспитаны на книгах Лаурица Юнсона, Турбьёрна Эгнера, Альфа Прёйсена и Анне-Кат Вестли. У нас у всех была общая основа благодаря подробным сводкам погоды от Метеорологического института, сухим биржевым новостям, субботним развлекательным программам из Большой студии в Мариенлюсте, концертам по заявкам радиослушателей и многим другим передачам. Все норвежцы моего возраста имеют единую культурную основу. Мы были как одна большая семья.

К субботней передаче все дети, как правило, получали молочную шоколадку за пятьдесят эре, маленькую бутылочку «соло» и пакетик печенья, или

пакетик изюма, или пакетик орехов. Иногда мы получали два пакетика — и изюма, и орехов, тогда мы их смешивали. Субботние лакомства были почти такие же стандартные, как школьные завтраки. Школьнику на завтрак от коммуны полагался стакан молока, хрустящий хлеб с козым сыром и бутерброды с паштетом, икрой и вареньем из шиповника. Именно во время школьных завтраков я иногда узнавал, что другие дети получают дома к субботней передаче. Оказалось, все получали то же самое, что и я. Меня пугал этот негласный сговор между родителями. Я тогда еще не понимал, как глубоко культурное единство в действительности может пронизать общество.

Случалось, родители давали нам крону, чтобы мы сами выбрали себе в киоске субботние лакомства, это было, безусловно, лучше обычной смеси из арахиса, изюма и печенья. На крону можно было купить десять шоколадок, а на десять эре — одну тянучку, или две соленые лакричные пастилки «Салти», или один мятный леденец, или две шоколадки по пять эре, или четыре лакричные пастилки «Тос». Следовательно, на одну крону мы покупали три шоколадки по десять эре, две тянучки, две «Салти», один мятный леденец, четыре шоколадки по пять эре и четыре пастилки «Тос». Или шоколадку «Ригель» за двадцать пять эре, пакетик замороженного сока за двадцать пять эре и, к примеру, две шоколадки, две тянучки и один мятный леденец. Я был мастер составлять самые выгодные комбинации. Иногда я к тому же таскал мелочь у мамы из кармана пальто, когда она была в ванной, или наводила красоту, или спала после обеда, или поздно вечером в гостиной слушала «Богему». Моя совесть не страдала, если я брал у нее из кармана

монетку или две, — в те дни я не пользовался телефоном. Четыре телефонных разговора стоили одну крону, я уже тогда во всем любил порядок. Ради маминого спокойствия я строго следил за тем, чтобы не звякнули ключи и не зазвенели монеты, когда я запускал руку в ее карман. Метр часто наблюдал за моими проделками, но он не ябедничал. Имея лишнюю крону или пятьдесят эре, было намного легче выбирать субботние лакомства.

Далеко не у всех дома были современные приемники, но мы с мамой как раз недавно обменяли наш старый приемник на новенькую «Хюльдру» Тандберга. Аппарат стоял на полированной полке в гостиной и соединялся банановыми штепселями с двумя динамиками, поэтому звук у него был гораздо лучше, чем у обычных кабинетных приемников. Снизу на полке хранились все мамины пластинки — у нее было солидное собрание старых дисков на семьдесят восемь оборотов, но было среди них немало и современных долгоиграющих пластинок и синглов. Купив себе субботних лакомств, я усаживался на персидский пуфик возле одного из динамиков и раскладывал на приемнике свое богатство. Если лакомств получалось больше, чем я мог себе позволить, я прятал шоколадки и тянучки внизу на полке так, чтобы их не было видно. В таких случаях я начинал свое пиршество с нижнего ряда.

Взрослые тоже покупали себе к субботе что-нибудь сладкое. Я проводил основательные дознания во время школьного завтрака, и рассказы моих одноклассников точно совпадали с моими домашними наблюдениями. Взрослые любили фруктовое желе по двадцать пять эре, маленькие шоколадки с коньяком от фабрики «Бергене», апельсиновое печенье или

темный шоколад «Негритянский принц». Если днем к ним приходили гости, они пили чай и ели свежие булочки с итальянским салатом, а когда требовалось особенно изысканное угощение, они покупали французские батоны и делали многослойные сэндвичи с ростбифом, салатом из креветок, ветчины и печеночного паштета.

Мама считала, что я слушаю детские передачи, потому что они смешные. Она не понимала, что в это время я углубляюсь в свои мысли. Что, сидя на пуфике, я придумываю, как можно улучшить детские передачи. Уж если каждую субботу радио претендует на час внимания всех норвежских детей, то могло бы сделать свои передачи интереснее. У меня в голове роилось множество идей: конкурсы для слушателей, шутки, скетчи о привидениях, рассказы о животных, бытовые истории, сказки и радиопьесы, которые я сочинял сам. Я строго следил за тем, чтобы каждая моя передача укладывалась в шестьдесят минут. Это было поучительно. Прос-то невероятно, как много всего можно вместить в шестьдесят минут! Надо только критически относиться к тому, что делаешь. А я к своим проектам подходил очень критически, что, к сожалению, не всегда можно было сказать о Лаурице Юнсоне. Даже такому мастеру, как Альф Прёйсен, стоило бы задуматься, сколько раз дети могут слушать его рассказ о том, как он запихивал два эре в свою копилку. Вот Уолт Дисней строго судил свои работы, но он был божеством, он создал свой собственный мир. Вообще, у меня с Диснеем было много общего. Его в свое время тоже вдохновил копенгагенский «Тиво-ли», это было еще до того, как он создал свой Диснейленд. Я придумал много веселых историй про

утенка Дональда, хотел послать их Уолту Диснею, да так и не собрался.

Не послал я их и на норвежское радио. Если бы я это сделал, они бы, конечно, обратили на них внимание, но у меня не было потребности целый час в субботу слушать то, что я сам же придумал. Поэтому все свои замечательные идеи я оставлял при себе. Не каждый на это способен. Развитие телевидения хороший тому пример.

Когда в шестидесятом году начались первые телевизионные передачи, я у нашего соседа смотрел, как премьер-министр Эйнар Герхардсен открывает это торжество. Многие, естественно, опасаются, сказал он, что телевидение отрицательно скажется на жизни детей и вообще на семейной жизни. Что оно мешает детям делать уроки и гулять на свежем воздухе. Премьер-министр напомнил, что телевидение, как в свое время и радио, поначалу привлечет внимание множества людей. Но он считал, что это утрясется само собой. В конце концов мы научимся выбирать и браковать. Мы должны научиться выбирать то, что для нас представляет наибольшую ценность, сказал Герхардсен, должны научиться выключать телевизор, если программа нас не интересует. Только тогда мы получим от телевидения и радость, и пользу. Он надеялся, что телевидение станет новым фактором в образовании и просвещении народа, новым средством распространения знаний по всей стране. И не сомневался, что оно откроет новые ценности и для души, и для ума, и особенно уповал на то, что оно должно предъявлять строгие требования к качеству программ, особенно программ для детей и подростков.

Эйнар Герхардсен был несгибаемым оптимистом, когда дело касалось будущего. Он был хорошим

человеком и, к счастью, не дожил до того времени, когда телевидение выродилось. Если бы Эйнар Герхардсен жил в наши дни, у него был бы богатый выбор из мыльных опер и документальных фильмов на множестве каналов. Он бы увидел, как ловко каналы конкурируют друг с другом в качестве, особенно когда речь идет о программах для детей и подростков, и как здорово мы научились выбирать то, что обладает особой ценностью.

Честно говоря, я сам напросился в гости к соседу, когда он купил телевизор. Но я этого не стыдился, мне уже стукнуло восемь, лето кончилось, и я учился во втором классе. Я должен был следить за новым медиа с самого начала.

Детей у соседа не было, что оказалось кстати, думаю, что жены у него тоже не было, во всяком случае, я никогда не видел его рядом с какой-нибудь женщиной, зато у него был большой лабрадор по кличке Вальдемар. Я всегда старался прийти немного пораньше, чтобы поиграть с Вальдемаром до начала первых передач, — сосед это ценил. Я спросил у него, умеют ли собаки думать, он считал, что умеют, и сказал, что по глазам Вальдемара понимает, мечтает ли Вальдемар или просто дремлет, по движению собачьего хвоста он тоже многое понимал. Наверное, Вальдемар мечтает о мясной косточке или о галетах для собак, заметил я, а может, и о сучках тоже, но едва ли собака способна мысленно представить себе целый спектакль. Собаки не могут говорить, сказал я, поэтому было бы странно, если бы они умели мечтать. Сосед же считал, что Вальдемар способен легко дать понять, когда он голоден или ему надо на улицу, так же легко понять, когда ему весело, или грустно, или страшно.

Но рассказывать сказки он не может, стоял я на своем, у него слишком мало фантазии, поэтому он не может и плакать. С последним сосед был согласен. Да, ему приходится гулять с Вальдемаром, чтобы тот не напустил лужу в гостиной, но, к счастью, можно не беспокоиться, что Вальдемар устроит кукольный театр из диванных подушек или нарисует на стене диснеевского утенка.

— Собаки не болтливы, как люди, — сказал он, — наверное, ты это имел в виду?

Именно так я и думал.

— И все-таки, по-моему, они такие же счастливые, как мы, — заключил я.

Тут наша беседа прервалась, и пришла очередь говорить Эйнару Герхардсену. Мы с соседом разделили друг с другом это великое национальное событие. Вальдемар же удалился на кухню и занялся там своими делами.

Вскоре новое средство массовой информации получило широкое распространение. Целый год я уговаривал маму купить телевизор и немного погодя уже весь бурлил новыми идеями. Я не посылал предложений на телевидение, но постоянно звонил туда и высказывал свое мнение.

Одна из моих телевизионных идей заключалась в том, чтобы поселить на вилле десять человек, изолировать их от внешнего мира и не выпускать, пока они не создадут что-то совершенно новое, что-то, что будет иметь непреходящее значение для всех жителей Земли. Пусть, например, напишут новую, лучше прежней Декларацию прав человека, сочинят самую прекрасную в мире сказку или разыграют самую смешную в мире пьесу. Участникам этой передачи надо дать достаточно времени, — кажется,

я предложил, чтобы им дали сто дней. Это большой срок. Во всяком случае, достаточный. Если десять человек наполнят сто дней каким-то содержанием, то в действительности это будет тысяча дней, то есть целых три года. Нужно только иметь желание, и тогда десять человек за сто дней непременно что-нибудь придумают. Но сначала участники передачи должны научиться сотрудничать друг с другом — это обязательное условие. Когда они захотят сообщить человечеству что-то важное, они позвонят в телевизионный центр, и к ним в виллу приедет с камерой Эрик Бюе¹¹ или Олф Кирквог¹², чтобы узнать, что они там придумали и важно ли это для человечества. В то время еще не было принято использовать двадцать или тридцать различных камер для развлекательной программы, во всем телецентре не нашлось бы столько, ведь мы еще не обнаружили нефть в Норвежском море. Когда человек выступает перед камерой, он должен хоть что-то иметь за душой. А это можно сказать не про всех, по крайней мере, следует считать преимуществом, если у человека есть что сказать. И в наши времена устраивают дурацкие вечеринки и ежегодные поездки выпускников гимназий в Копенгаген, но раньше считалось бы немыслимым снять вечеринку или поездку выпускников, которая длилась бы больше ста дней. Другое было время, может быть, другая культура и даже, может, другая цивилизация. Я не оправдываюсь, но тогда у меня точно не хватило бы фантазии,

¹¹ Бюе, Эрик (1926–2004) — писатель и популярный ведущий многих развлекательных телевизионных программ.

¹² Кирквог, Олф (1920–2003) — известный деятель норвежского радио и телевидения, автор многих развлекательных программ.

чтобы представить себе сегодняшнюю телевизионную культуру, тогда — нет. Вскоре я исписал целый блокнот хорошими идеями для разных программ, но испытывать терпение зрителей, сняв телесериал на несколько сотен часов или показав толпу хихикающих девушек и лапающих их юнцов? Нет, это превосходило все мои самые смелые фантазии. Еще неизвестно, хватило ли бы фантазии у Цезаря или Наполеона, чтобы представить себе атомную либо осколочную бомбу. Некоторые изобретения бывает разумнее оставить на будущее, нет смысла использовать все гениальные идеи за один раз.

* * *

В юности я тоже много времени проводил в одиночестве. Чем старше я становился, тем острее его чувствовал, но я любил одиночество, мне нравилось сидеть одному, погрузившись в размышления. Постепенно я все больше и больше сосредоточивался на том, что придумывал различные сюжеты для книг, фильмов и спектаклей.

Начиная с детства и отрочества я записал несколько сотен историй. Это были наброски к чему угодно — к сказкам, романам, новеллам, пьесам и кино-сценариям. Я никогда не пытался воплотить их в законченные произведения, подобная мысль даже не приходила мне в голову. Как бы я выбрал, какой роман писать первым, когда на выбор у меня была целая куча сюжетов?

Да я и вообще не смог бы написать роман, меня всегда слишком распирало от вдохновения. Оно так захватывало меня, что ход моих мыслей постоянно менялся, все время появлялись новые идеи, еще более удачные, чем те, с которых я начал. Автор романа

должен уметь надолго сосредоточиться на одном сюжете, может быть — на годы. Мне это представлялось слишком вялым, некой бездушной отрешенностью.

Хотя написать роман мне было по силам, меня это не привлекало. Зачем писать роман, когда его идея уже найдена и сюжет занял свое место в моем блокноте или папке для бумаг? Другое дело, собрать как можно больше идей или того, что я позже стал называть сюжетами или кратким содержанием. Наверное, меня можно сравнить с охотником, который любит выслеживать редких животных, но отнюдь не присутствовать при том, как убитое животное свежуют, разделывают, варят, а потом едят. Он вообще может быть вегетарианцем. В этом нет ничего странного — не хочет человек есть животную пищу и не ест, его дело. Многие рыболовы-спортсмены не едят рыбу. И вместе с тем часами простаивают, забрасывая спиннинг, а поймав крупную рыбу, тут же отдают ее друзьям или первому, кто попадется им на глаза. А некоторые идут еще дальше, они только вытаскивают рыбу из воды и тут же отпускают ее обратно. Слава богу, что человек может простоять целый день с удочкой не только для того, чтобы сэкономить несколько крон для семейного бюджета. Смысл благородной рыбалки *catch and release*¹³ в том, что этим людям доставляет удовольствие сама ловля. Они рыбачат, потому что это их бодрит. Рыбалка — это хитрая игра, благородное искусство. Наверное, нечто подобное имел в виду Эрнст Юнгер¹⁴, когда писал

¹³ Поймать и отпустить (*англ.*).

¹⁴ Юнгер, Эрнст (1895–1998) — немецкий журналист, приверженец войн как важного фактора в жизни индивида. Изменил свои взгляды во время Второй мировой войны.

в одном из своих военных дневников, что человек не должен горевать об ускользнувшей мысли. Она подобна рыбе, сорвавшейся с крючка и ушедшей в глубину, чтобы в один прекрасный день вернуться более жирной... Если человек вытащит рыбу на берег, оглушит ее и бросит в пластмассовое ведро, он может распрощаться с дальнейшим воспроизводством рыбы. То же самое можно сказать и об идее романа, если она записана и зафиксирована в более или менее удачной форме, мало сказать, издана. Может быть, в жизни культуры бывает слишком много *catch* и слишком мало *release*.

Есть и еще одна причина, по которой мне никогда не хотелось писать романов или, лучше сказать, вообще писать. Это мне казалось кривлянием. Я с малых лет боялся любого проявления чувств, боялся, например, что отец вдруг скажет мне что-то слащавое, когда мы с ним ехали по туннелю любви. В детстве я ненавидел, когда меня гладили по голове или похлопывали по щеке. Мне это казалось неестественным, и я не знал, как отвечать на такую фамильярность.

Я вовсе не хочу сказать, что кривляться плохо, напротив, я даже люблю кривляк: они такие смешные! На мой взгляд, тщеславные люди уступают только откровенно позирующим или самовлюбленным, за ними наблюдать еще интереснее, чем за эгоцентриками. Когда в одном месте собирается много народу, я всегда быстро выделяю среди них самых напыщенных, их так же легко узнать, как павлина, когда он распушит хвост. Мне больше нравится разговаривать с откровенно высокомерными людьми, чем с теми, кто скрывает свою надменность за вежливым интересом к собеседнику. Тщеславные люди всегда из кожи

вон лезут, чтобы быть как можно забавнее и занятнее. Они очень стараются и, как правило, устраивают целое представление.

К сожалению, я сам совершенно лишен тщеславия. Окружающим, конечно, бывает скучно со мной, но тут уж ничего не поделаешь. Я бы никогда не решил себе устроить представление. Конечно, такая жизненная позиция говорит о некоторой ограниченности, но я никогда не позволял себе танцевать под чужую дудку. Пусть я бездарен, но упреков в бездарности я терпеть не стану.

Именно поэтому я никогда не решился бы на такую глупость, как написать и представить на суд публики случайный роман или собрание новелл. Это все равно что взобраться на пьедестал и раскланиваться во все стороны, ожидая от публики аплодисментов. К тому же писать романы — слишком обыденное занятие. Романы пишут люди односторонние. Придет время, и писать романы станет так же обычно, как сегодня читать их.

Когда мы с мамой смотрели «Огни рампы», я вдруг понял, как коротка жизнь. А также, что я умру и исчезну уже в обозримом будущем. В противоположность тщеславным, самовлюбленным людям я сам сумел прийти к этой мысли. Мне было нетрудно представить себе театр или кинозал, заполненный зрителями, после того как меня уже не станет. Это удастся далеко не всем. Многие настолько опьянены своими чувственными впечатлениями, что не в состоянии понять, что вокруг них существует целый мир. Точно так же они не могут понять и противоположного: когда-нибудь и этот мир прекратит свое существование. Всего несколько пропущенных ударов сердца навечно отделят нас от человечества.

Я никогда не пытался приукрасить себя в разговоре с людьми или кривляясь перед зеркалом. Я нанес миру всего лишь короткий визит. В том числе и по этой причине мне было забавно встречать тщеславных людей.

Душа особенно очищается, когда поговоришь с ребенком или посмотришь комедию положений Хольберга или Мольера. Точно так же приятно встречать и кривляк — они доверчивы, как дети, и я завидую именно их доверчивости. Они живут так, будто что-то еще может оказаться полезным, будто еще не все поставлено на карту. Но мы — прах. И у нас нет причин ломаться. Или, как сказал Мефистофель, когда Фауст умер:

*Раз нечто и ничто отождествилось,
То было ль вправду что-то налицо?
Зачем же созидать? Один ответ:
Чтоб созданное все сводить на нет*¹⁵.

* * *

Мама умерла в 1970 году перед самым Рождеством, я учился в последнем классе гимназии. Болезнь свалилась на нее неожиданно. Она проболела недолго. Сначала месяц дома, лечась в поликлинике, потом — несколько недель в больнице.

Незадолго до ее смерти она помирилась с отцом, точнее, еще до того, как ее положили в больницу. Отец сказал, что это он испортил матери жизнь, и то же самое про себя сказала мама: она разрушила его жизнь. Так они говорили до последнего часа. Разница была только в том, что теперь они упрекали не друг друга,

¹⁵ Перевод Б. Пастернака.

а самих себя. Сумма упреков и проклятий оставалась примерно такой, какой она была всю жизнь. Для меня не было разницы, мучат ли отец с матерью друг друга или только самих себя.

Похороны были красивые. Отец произнес длинную речь о том, каким блестящим человеком была мама. Он коснулся даже того, что назвал «великим грехопадением» их жизни. Однако в последнее время им удалось найти дорогу друг к другу, и они простили друг другу все грехи и несовершенства, сказал отец. Таким образом, они все-таки сдержали обещание, данное перед алтарем. У них были и хорошие, и плохие дни. Но, несмотря ни на что, они все-таки сохранили свою любовь, пока смерть не разлучила их.

В речи отца не было даже намека на притворство, он действительно любил маму в последние недели ее жизни. Я думал, что он поздновато спохватился, с таким же успехом он мог бы и не появляться у нас в эти недели. Может быть, сильнее всего он любил маму сразу после того, как ее не стало. И отнюдь не затем, чтобы привлечь к себе внимание.

Хотели, чтобы я тоже сказал несколько слов у маминого гроба, но я не смог. Я и в самом деле был совершенно раздавлен. Думаю, я горевал сильнее, чем отец, потому и не смог говорить, это был неподходящий момент для упражнений в красноречии. Если бы я не так остро переживал мамину смерть, то, конечно, произнес бы трогательную речь. Я не знал, что ее кончина так на меня действует. Я только встал со скамьи и подошел к гробу с букетом незабудок. Кивнул отцу и пастору, и они тоже кивнули мне. Вернувшись на свое место, я увидел, что маленький человечек в зеленой фетровой шляпе расхаживает взад-вперед по проходу, рассекая воздух своей тонкой тростью. Он был раздражен.

Мне уже стукнуло восемнадцать, и отец решил, что я должен оставить себе нашу квартиру, хотя мама и умерла. В дальнейшем мы по-прежнему виделись с ним один раз в неделю. А ранней весной договорились, что нам достаточно встречаться раз в месяц. Мы уже переросли интерес к конькобежным и лыжным соревнованиям и тому подобному. О каких-либо поездках по туннелю любви больше не было и речи. Отец дожил до восьмидесяти лет.

Помню, после маминой смерти я думал: мама меня больше не видит. Кто же теперь меня видит?

Мария

Я не забыл маму и никогда ее не забуду, но мне нравилось жить одному в нашей квартире. Не много молодых людей моего возраста имели в своем распоряжении квартиру.

Некоторое время мне было не с кем ходить в кино или в театр, не хватало мамы, но вскоре я начал приглашать с собой девушек. Я не был стеснительным, мне ничего не стоило подойти к совершенно незнакомой девушке на школьном дворе и позвать ее в кино или в театр. Несколько раз я приглашал девушек, встреченных в автобусах, или в магазине, или просто в городе. Я предпочитал незнакомых девушек моим одноклассникам. Если бы я пригласил девушку из своего класса, это могло быть неправильно понято и, кроме того, должно было бы иметь продолжение. Хотя я приглашал совершенно незнакомых девушек, их внешность всегда кое-что рассказывала мне о них, я мог даже угадать, сколько им лет.

Заговорить с девушкой было просто, и я редко получал отказ. Сперва они смущенно хихикали, но я представлял все таким образом, что им казалось естественным принять приглашение незнакомого парня. Я давал им почувствовать себя избранными.

Они и были избранными, я не приглашал первых попавшихся.

Девушкам нравилось, что у меня есть своя квартира. Одна за другой они приходили ко мне на сыр с красным вином или на пиво с яичницей. Иногда они оставались ночевать, но только в виде исключения одна и та же девушка ночевала у меня два раза подряд. Разрешив я какой-нибудь из них прийти ко мне снова, это дало бы ей повод для раздражения: почему ей нельзя приходить ко мне чаще? Случалось, у них возникали надежды, которых я не мог оправдать, тогда мне приходилось с ними объясняться, а я старался этого избежать, но я научился не внушать им ненужных надежд.

Никто из них не таил на меня обиды, если я приглашал их только на одно представление в театр, на один ужин и на одну ночь. Недоразумения начинались после четырех или шести таких приглашений. В этом и был парадокс. Девушка, которая ночевала у меня только раз, как правило, оставалась довольна хорошо проведенным временем. И она не кричала об этом на всех углах, большинству было стыдно, что они переночевали у совершенно незнакомого человека. Но как только число их посещений переваливало за единицу, они становились плаксивыми, жаловались подругам и считали, что имеют право провести у меня больше ночей.

Я никогда не обманывал девушек. Не обещал им ужина, пока мы не побывали вместе в кино или в театре, не обещал им постели, прежде чем мы не поужинали, и никогда даже не намекал, что они могут прийти ко мне еще раз. Я не скупился на комплименты, потому что действительно ценил и этих девушек, и их приход ко мне, но при этом никогда не говорил, что хотел бы связать себя с ними на более долгий срок. Чтобы

избежать недоразумений, я, давая гостю зубную щетку, полотенце, а в некоторых случаях и старый мамин халат, неизменно подчеркивал, что хотя я и польщен, что она осталась у меня до утра, она должна относиться к этому только как к приятно проведенному времени, и это была чистая правда. Если девушка мне особенно нравилась — может быть, больше, чем все остальные, вместе взятые, — я чувствовал своей святой обязанностью честно сказать ей, что у меня нет намерений связывать себя на всю жизнь. Это производило впечатление, никто никогда не хлопал дверью. Казалось, будто такая откровенность делала ночной визит еще более интересным. Люди склонны больше ценить то, что, как им известно, никогда не повторится, чем то, что, по их мнению, будет длиться вечно.

Мне было забавно наблюдать за этими девушками, потому что все они обращали внимание на разные вещи в моей квартире. Некоторые подходили к книжным полкам и брали книги, которые их интересовали: девушка по имени Ирене сидела и листала «Мир искусства», а та, которую звали Ранди, принялась читать вслух брошюру по сексуальному просвещению Карла Эванга¹⁶. Я прочитал ее еще в детстве, и теперь мне казалось, что она уже устарела. Одна из девушек тут же уселась за наше зеленое пианино и очень неловко сыграла ноктюрн Шопена, — кажется, ее звали Ранвейг, — а Турид рассказала несколько незатейливых анекдотов, наигрывая мелодии из американского мюзикла «Волосы». Добрая половина девушек просто ставила пластинки, не успев войти

¹⁶ Эванг, Карл (1902–1981) — норвежский врач. Первым заговорил о необходимости популяризации медицинских знаний среди населения.

в гостиную, — у меня были и Джоан Байез, и Дженис Джоуплин, и Саймон и Гарфункель, и Петер, Пауль и Мэри. Одной голубоглазой блондинке непременно хотелось, чтобы мы послушали «Кариуса и Бактуса»¹⁷, но никто из них не интересовался ни Чайковским, ни Пуччини, если не считать Хеге, которую я случайно встретил в конце мая.

Хеге уже сдала экзамен по музыке, она училась в гимназии на музыкальном отделении. После того как мы с ней посмотрели в кино «Испытание на мужество», она вдруг села за пианино и сыграла весь Второй до-диез-минорный концерт Рахманинова. Хеге играла более получаса, и когда дошла до адажио, я на какое-то время решил, что люблю ее, но как только она заиграла заключительное аллегро, я понял, что очарован музыкой, а не самой пианисткой. Когда мы пришли в спальню и я напомнил ей о краже красного «фиата» и последовавшем за ней приключении под навесом, она чуть не умерла от смеха. Теперь мы были уже взрослые, после реального училища мы с нею ни разу не виделись.

Хеге провела у меня три ночи подряд, но, когда на четвертый день до нее дошло, что мы не настоящая пара, она ушла от меня и никогда больше мне не звонила. Я без труда ее понял. Мы знали друг друга с детства. И было бы глупо играть во взрослые игры только ради самих этих игр.

Думаю, что Метр был согласен со мной, он особенно кис в те три дня, что Хеге жила у меня. Он бегал по гостиной и по кухне и размахивал своей бамбуковой тростью перед глазами у Хеге. Для меня было загадкой, почему она его не видит.

¹⁷ Сказка норвежского писателя Турбьёрна Эгнера.

Многие девушки рвались выйти на балкон. Мама всегда тщательно ухаживала за растущими там в ящиках цветами, и я не мог бросить их на произвол судьбы в первую же весну после ее смерти. Я выкопал и выкинул все, что осталось в ящиках с прошлого года, наполнил их новой землей и посадил много луковиц. Результат получился на удивление хороший — мой балкон утопал в крокусах и тюльпанах, как никогда прежде, и на многих девушек мои успехи в цветоводстве производили неизгладимое впечатление. Если позволяла погода, мы иногда сидели на балконе и любовались видом города, потягивая martini или дубонне.

Разумеется, мне приходилось объяснять девушкам, почему я живу один, и некоторым из них я даже показывал шкаф с маминой одеждой. Им очень хотелось взять понравившееся платье, костюм или пальто. Сперва они примеряли, подойдет ли им приглянувшаяся вещь, и каждый раз это было похоже на небольшую демонстрацию мод. Иногда я для смеха доставал пару варежек, шаль или изящную театральную сумочку и дарил им на прощание. Особенно мне понравилась девушка, которая взяла каракулеву шубу. Ее звали Тереза, и у нее на глаза навернулись слезы, когда я сложил шубу и сунул ее в бумажный пакет, но, думаю, она так растрогалась не только из благодарности. По-моему, она приняла подарок за предложение руки и сердца или по крайней мере за глубоко прочувствованное объяснение в любви, и потому мне в который раз пришлось объяснять свой поступок. Отцу я сказал, что отдал все мамы вещи Армии спасения, и он без возражений с этим согласился, может быть, он забыл про каракулеву шубу, но, так или иначе, все вещи достались не Армии спасения,

а моим девушкам, некоторые даже помогли мне отобрать то, что нужно просто выбросить. Потребовалось полгода, чтобы в доме не осталось ни одной маминой вещи.

Раз или два случалось, что девушка, ночевавшая у меня, при встрече на улице отворачивалась в сторону, но в Осло в то время было столько девушек, что я без труда находил новых. В начале семидесятых от ночных визитов никто не требовал никакой духовности. Помню, я думал, что родился в удобное время. За двадцать лет до того мужчины моего возраста не мог бы извлечь столько удовольствия из обладания собственной квартирой.

Я познакомился со многими девушками в городе еще до окончания гимназии, но так ни в кого и не влюбился. Я чувствовал себя слишком взрослым, слишком зрелым по сравнению с ними. Здесь вступал в силу некий дуализм. Я был недостаточно взрослым для их тел, это я и сам понимал. Но ведь женщина не только тело, да и мужчина, если на то пошло, тоже. Я был уверен, что в один прекрасный день встречу женщину, которую смогу любить и телом, и душой. Может, именно поэтому я стал совершать одинокие дальние прогулки. Когда-нибудь я ее найду, и она будет такой же, как я, — не захочет посещать дискотеки или собрания молодежных организаций. Скорее всего, такую девушку можно было встретить в Нурмарке на Кикуте или где-нибудь вблизи от Бланкваннсбротена. Но встретил я ее на Уллеволсетере, и это случилось в середине июня.

* * *

В детском саду я любил сидеть в уголке и смотреть, как играют дети. Теперь эти дети выросли,

стали почти взрослыми. Наблюдать за играми взрослых детей мне было уже не так интересно, особенно за той их игрой, которую они называли вечеринками выпускников. Мне больше нравились развлечения детей, чем выпускников. Из-за этих вечеринок я уже несколько недель не мог найти девушку, которую можно было бы пригласить в театр или к себе домой. В городе и так было слишком весело.

Почти каждый день я совершал долгие прогулки по лесам Нурмарки. А однажды, доехав на поезде до Финсе, пересек плоскогорье Хардангервидда, спустился в Аурландсдален и из Флома поездом вернулся домой. Я любил ездить на поезде, любил изучать лица пассажиров, и мне было приятно думать о всякой всячине, глядя на мелькавший за окном ландшафт. Гимназия окончена, и через несколько дней я получу аттестат с «четверкой» по физкультуре и «шестерками» по всем остальным предметам. Мне нечем было заняться, я мог совершать сколько угодно дальних прогулок и кататься на поезде. Отец должен был содержать меня до пятнадцатого сентября.

Бродя в одиночестве, я всегда имел наготове карандаш и блокнот. Во время таких прогулок я особенно любил размышлять о всевозможных вещах. Мои мысли были постоянно чем-то заняты, на ходу мне сочинялось лучше, чем дома, в кресле. Шиллер говорил, что, когда человек играет в театре, он свободен, ибо только там он следует своим законам. Шиллер знал, о чем говорил, но эту перспективу всегда можно перевернуть вверх ногами: мыслями и идеями легче играть, бродя по Хардангервидде, чем час за часом меряя шагами пространство между четырех стен, подобно пленнику любого спального района в большом городе. Было и еще кое-что: Метр в основном сидел

в квартире. Он мог, разумеется, показаться и в городе, но редко случалось, чтобы он объявился в лесу или на Хардангервидде.

На просторе моя мысль работала быстрее и лучше, там у меня без конца рождались новые сюжеты. Дома я хранил большой каталог и целое собрание сюжетов для новелл и романов, пьес и сценариев. Лучшие идеи я перепечатывал на машинке и подшивал в папки. После этого я уже почти никогда к ним не возвращался.

У меня по-прежнему и в мыслях не было воплотить какую-нибудь свою идею в законченное произведение. Моим хобби, можно даже сказать капризом или прихотью, оставалось «высиживание» лихо закрученных сюжетов. Некоторые люди собирают монеты или марки. Я собирал собственные мысли и рожденные моей фантазией сюжеты.

Как-то раз пришедшая ко мне девушка начала листать одну из папок. Она сняла ее с полки в кабинете и принялась читать вслух мои записи. Я не оставил ее на ночь, она получила только пиво с яичницей. С тех пор мои папки надежно хранились под замком в двух шкафчиках под книжными полками в гостиной.

Когда я спускался в Аурландсдален, мне в голову вдруг пришла одна мысль. Совершенно новая и неожиданная, она была связана с тем, что совсем недавно я познакомился с неким молодым писателем из «Клуба 7»¹⁸, он был лет на пять старше меня. Я угостил его вином, и мы проговорили целый вечер. Несмотря на вызывающие, как у Джона Леннона, очки, длинные волосы, бороду и изрядно потрепанный

¹⁸ Культурный центр авангардистского толка, существовавший в Осло с 1963 по 1985 год.

бархатный костюм, он был поразительно наивен, однако совсем не так, как мои одноклассники-выпускники. Я достал заметки, сделанные мною утром, это были три или четыре густо исписанные страницы, содержавшие изящно закрученный сюжет романа. Он быстро пробежал их и пришел в восторг. Подняв на меня завистливый взгляд, он превознес до небес мою писанину. Его похвалы меня не удивили — идея и впрямь была блестящая, — но и не обрадовали, уж слишком он был молод и неопытен как писатель, я показал их ему с другой целью.

— Если ты заплатишь за вино, которое мы выпили, можешь забирать эти бумажки, — сказал я.

От удивления он забыл закрыть рот.

— Ведь ты писатель, — объяснил я ему свое предложение. — А я обещаю никогда никому не говорить, откуда ты почерпнул эту идею, только заплати за вино и дай мне еще пятьдесят крон.

Он вернул мне деньги, которые я уже заплатил за выпивку, и прибавил к ним еще сотню. В «Клубе 7» посетители платили за вино до того, как им открывали бутылку. Пряча деньги в карман, я увидел в зале Метра. С важным видом он быстро сновал между столиками, потом повернулся к нам и погрозил мне своей бамбуковой тростью.

Нынче тот молодой человек в очках Джона Леннона — один из наших ведущих писателей, не так давно ему стукнуло пятьдесят. С тех пор мне приходилось неоднократно встречать его, и теперь я получаю десять процентов от того, что он зарабатывает на своих книгах. Знаем об этом только мы с ним.

В Аурландсдалене я долго стоял перед огромной впадиной, которая называется Ветлахелвете, или Малый Ад, именно там я впервые подумал, что,

возможно, смогу зарабатывать на хлеб насущный своими идеями. Я обладал тем, что для других во-все не было самоочевидным. Тщеславным я не был, и известность меня не привлекала, но я нуждался в деньгах, а запрягаться в работу на лето не хотел. Жить мне было не на что. Отец недвусмысленно дал мне понять, что после пятнадцатого сентября вообще перестанет снабжать меня деньгами. Но если я захочу учиться дальше, сказал он, то, как и все студенты, могу взять заем у государства. Отец не знал, что мне на этот заем не прожить, его не хватило бы даже на одни только посещения девушек. К тому же из-за отсутствия денег я не смог бы ездить куда захочу. А это мне было не по душе.

Озарение пришло неожиданно, как всегда. Я пишу об этом лишь потому, что могу точно назвать время и место, где эта светлая мысль впервые пришла мне в голову. Это случилось в Ветлахелвете, когда я стоял и смотрел вниз. Помню, тогда я понял, что это хорошая мысль, своего рода метаидея, подавившая все остальные и, так сказать, указавшая им их место.

Когда я сегодня вспоминаю тот поход по Аурландсдалену, то понимаю, что именно там заключил договор с дьяволом.

Бродя среди гор и холмов, я часто думал о прошедших годах. Что-то окончилось, и вот-вот должно было начаться что-то новое. Мне предстояло найти себе респектабельное, но анонимное положение в обществе.

Я уже говорил, что порой с трудом проводил грань между запомнившимся действительным событием и запомнившейся фантазией. Такова была особенность моей памяти — я хранил живые воспоминания о событиях воображаемых и лишь смутно

помнил случаи из реальной жизни. Это меня нервировало и даже пугало, но списать все на полученные в детстве травмы, которые мне хотелось бы забыть, было бы слишком просто. Мама считала, что у меня было несчастное детство, иначе она это не называла. Я же, напротив, считал, что мое детство можно назвать счастливым.

Помню, один раз я летал над городом. Я смотрел вниз на дома и мог приземлиться где вздумается, чтобы заглянуть в окна чужих гостиных и спален. Я наблюдал, как живут самые разные люди, проникал в их тайны. Становился свидетелем семейных ссор и самых разнузданных сексуальных сцен. Я как будто наблюдал за обезьянами в клетке, и порой мне становилось стыдно за *homo sapiens*. Однажды я наблюдал, как мужчина и женщина совокуплялись на плюшевом ковре на глазах у двухлетней девочки, сидевшей на диване. Мне это казалось противоестественным. В другой раз я видел, как на широченной двуспальной кровати мужчина совокупляется сразу с двумя женщинами. Их соитие не оскорбляло моей морали, но некоторые сцены возмущали меня. Как-то раз я оказался свидетелем жестокой драки из-за денег, но был не в состоянии вмешаться в нее. Я не совсем уверен, но мне показалось, что один из дравшихся был убит, а другой сбежал.

Конечно, это запомнившиеся мне фантазии, но я учился на них, в них было много назидательного. Часть детективных сюжетов, которые я придумал потом, почерпнута из таких воображаемых путешествий. Фабулу криминального романа, как правило, можно изложить на одной странице. Искусство писателя состоит в том, чтобы наполнить ее фактическими сведениями. Сыщик должен постепенно

продвигаться к истине и напрягать ум, чтобы раскрыть преступление, читатели это любят. Шаг за шагом приближаясь к точному пониманию того, что случилось на самом деле, он может путаться и брать ложный след, но когда картина случившегося прояснится во всей своей полноте, она заставит читателей почувствовать себя проницательными и внушит им мысль, что они сами участвовали в раскрытии преступления.

Я научился и мечтать — мечта подобна открытой книге. В то время в моем сознании постоянно всплывали три воображаемых ландшафта, а в них снова и снова появлялись вымышленные персонажи. Я был уверен, что это не просто отражение чего-то, что я пережил в реальности, но нечто новое, то были истинные новые впечатления, на которых я учился и которые сделали меня тем, кем я стал. Но откуда приходят мечты? Я так и не знаю, обязан ли своими мечтами и воображаемыми путешествиями тому, что моя душа, как сверхчувствительная антенна, улавливает все приходящее извне, или она, подобно некому эхолоту, способна открывать, слой за слоем, тайны, хранящиеся в бездонных глубинах моего «я».

Я больше не мечтаю о маленьком человечке с тростью, но не имел бы ничего против, чтобы как-нибудь встретить его во сне. Мечтать о нем было лучше, чем видеть, как он в любое время разгуливает по моей квартире.

Случались у меня и более неожиданные воображаемые путешествия. Я, например, побывал на Луне за много лет до Армстронга и Олдрина. Помню, как я стоял на Луне и смотрел оттуда на земной шар. Там далеко были люди. Потом это стало уже избитой фразой, но задолго до того, как Армстронг совершил

свой великий прыжок во славу человечества, я побывал на Луне и первым осознал трагикомизм всех войн и государственных границ. Кажется, я совершил это воображаемое путешествие, когда мне было лет двенадцать. Впоследствии мой взгляд стал лучше подмечать все мелочи, которыми люди заполняют свою жизнь. Особенно смешными мне казались похвалы, почести и известность.

Совершал я мысленно и другие странствия, выходящие за пределы нашей Солнечной системы. Однажды с помощью машины времени я перенесся в прошлое еще до того, как на Земле зародилась жизнь. Я парил над водами, и Земля казалась мне налившейся почкой, готовой вот-вот лопнуть, ибо я знал, что вскоре на ней появится жизнь. До первого правительства, возглавляемого Герхардсеном, оставалось примерно четыре миллиарда лет.

Бывало, я парил на крыльях души, заглядывая в самые потаенные уголки города, например на чердак одного из городских театров, откуда я, сидя под самой крышей, мог смотреть вниз на всех актеров. Как-то раз Метр сел на софит в полутора метрах от меня. Он устало взглянул на меня и жалобно произнес: «И ты тоже здесь? Неужели я никогда не смогу ничего сделать сам?» Сказать такое было в его духе.

У меня появлялось все больше идей. Они дышали мне в затылок, бурлили внутри, а порой ныли, как открытые раны. Я, словно кровью, истекал историями и рассказами, мой мозг выдавал все новые и новые вымыслы, будто лихорадочно-красная лава извергалась из раскаленного кратера внутри меня.

Мою голову переполняли мысли, мне постоянно хотелось найти укромное местечко, где бы я мог сесть с карандашом и бумагой и без помех погрузиться

в свои мечты. Я записывал длинные беседы между двумя или несколькими голосами, звучавшими у меня в голове, обычно обсуждались темы бытия, познания или эстетики. Кто-то говорил: «Для меня совершенно очевидно, что душа человека бессмертна, она лишь на короткое время поселяется в оболочке из плоти и крови». Ему возражал другой: «Нет-нет. Человек — животное, как и все остальные твари. Или, как сказал Будда на смертном одре, все состоящее из частей переходящее».

Такие диалоги могли занимать по несколько десятков страниц, но мне всегда было приятно освободить от них голову. Однако стоило перенести их на бумагу, как моя голова снова наполнилась голосами, и мне приходилось снова избавляться от них.

Диалоги, от которых я избавлялся, порой являлись отзвуками будничной жизни. Например, один голос говорил: «Пришел все-таки? Неужели ты не мог позвонить и предупредить, что задержишься?» Ему отвечал другой голос: «Я же сказал, что совещание, возможно, затянется». И снова первый голос: «Ты хочешь сказать, что до сих пор сидел на совещании? Ведь уже почти двенадцать!» И представление начиналось.

Я никогда не знал заранее, к чему приведут такие вступительные реплики. И записывал диалог, лишь бы выкинуть его из головы. Я не мог иначе успокоить непрерывно работающий мозг, как записать все подаваемые им импульсы.

Несколько раз я пытался затуманить мозг алкоголем, но тогда спирт проникал в истории, и жидкость, словно испарившись, превращалась в чистый дух. Хотя алкоголь сильно возбуждал фантазию, он в то же время приглушал страх перед ней, он одновременно

и запускал мотор, и давал мне мужество и силы, необходимые, чтобы выдерживать работу этого мотора. Через мою голову плыл целый косяк голосов, и несколько лишних бокалов помогали мне удержать их все.

Проснувшись утром, я не всегда помнил все записанное накануне вечером, во всяком случае последнее пришедшее мне в голову после двух бутылок вина. Тогда, накинув халат, я спешил в кабинет бросить взгляд на письменный стол: нет ли там чего-нибудь стоящего? Взяв свои заметки, я уже не помнил, что там написал, как будто у меня в руках был незнакомый документ, попавший ко мне каким-то таинственным образом.

Я все время пытаюсь забыть, даже когда не помню, что двигало моей фантазией и заставляло периодически употреблять алкоголь. Зачем я тратил столько сил на то, чтобы забыть что-то, чего все равно не мог восстановить в своей памяти?

Только общение с природой и визиты девушек на короткое время давали мне душевный покой.

Я относился к природе как к чему-то мистическому еще до того, как начал учиться в гимназии. Мир казался мне чем-то призрачным и волшебным. В дневнике у меня записано: «Я вижу насквозь почти все. Единственное, чего я не могу увидеть насквозь, это сам мир. Он слишком массивен. И непроницаем. Я всегда пасую, когда речь заходит о нем. Он, единственный, мешает мне обрести полное знание».

Кроме того, я был романтиком. Мне бы никогда не пришло в голову признаться девушке в любви, если я не питал к ней подлинного чувства, как я не признавался в любви тем девушкам, которые оставались у меня на ночь. Я вдруг подумал, что

мог бы быть верным любовником. Мог бы всю жизнь прожить в каком-нибудь лесном домишке с той, которую полюбил по-настоящему, но сначала ее нужно было найти. Бродя за городом, я не сомневался, что она может возникнуть передо мной в любую минуту. Может, она уже стоит на тропинке за следующим поворотом, думал я. Это не преувеличение. Я не сомневался, что она существует.

* * *

В тот теплый июньский вечер я пришел на Уллеволсетер из Мидтстюена. В Нурмарке было безлюдно, может, именно поэтому я в тот день был так полон ожиданий. Я дошел до Скьеннунгстюа, не встретив ни души, отчего надежды, что она вдруг выйдет мне навстречу, только усилились. Если бы в лесу гуляло много народу, мы бы, скорее всего, даже не заметили друг друга, во всяком случае, не остановились бы, чтобы переброситься парой фраз.

Я зашел в кафе, взял вафли, глинтвейн с черной смородиной и устроился на лужайке. Неподалеку на скамейке сидела девушка с темными вьющимися волосами, в синих джинсах и красном джемпере. Кроме нас, на Уллеволсетере никого не было. Она тоже что-то пила, но вскоре встала и небрежным шагом подошла ко мне. На какое-то мгновение я испугался, что она одна из тех девушек, которые ночевали у меня, у многих из них были темные волосы, у некоторых даже вьющиеся, всех не упомнишь. Но та, что стояла передо мной, была значительно старше их, лет на восемь или на десять. Девушка моего возраста постеснялась бы взять на себя инициативу. Она села на траву и сказала, что ее зовут Мария. Говорила она по-шведски, у меня никогда не было девушки

из Швеции. Я понял, что именно Марию искал все последние месяцы. Мы должны были встретиться, никого, кроме нас двоих, тут не было, мы не встретились бы здесь с ней этим теплым июньским вечером, если бы не были предназначены друг другу.

Лишь несколько минут мы вели вежливую беседу ни о чем, а потом заговорили свободно, словно давным-давно знали друг друга. Ей было двадцать девять лет, она только что получила степень магистра по истории искусств в Университете Осло. До этого Мария изучала искусство Ренессанса в Италии. Жила она в студенческом городке в Крингшё, что тоже было новым и многообещающим. Девушки, с которыми я встречался раньше, всегда приходили ко мне, они жили в семьях, с родителями, братьями и сестрами. Мария родилась в Швеции, но сейчас ее родители жили в Германии.

Она была совершенно особенная, но чем больше я ее узнавал, тем больше думал, что во многом мы схожи. Хорошенькая и насмешливая, она, как и я, отличалась способностью быстро находить ассоциации и делать умозаключения. Как и я, она обладала утонченной фантазией — неистощимым рогом изобилия, полным мыслей, выдумок и идей. Она была нежной и уязвимой, но могла вдруг стать безжалостной и грубой. Впервые мне встретилась женщина, к которой я что-то чувствовал, с которой хотел и мог поддерживать отношения. Мы были как две половинки одной души: Анимус и Анима¹⁹.

¹⁹ По Юнгу, Анимус и Анима — архетипические образы, в которых запечатлен образ предков (в аспекте пола). Анимус — собрание отцов, мужская часть души, связанная с категорическими мнениями. Анима — женская часть, связанная с настроениями.

Я без памяти влюбился в нее, впервые в жизни, и эта влюбленность не была поверхностной. Я знал много девушек, даже слишком много. Мое увлечение Марией вовсе не означало, что я не знал лучшего. Напротив, я считал, что уже подготовлен к тому, чтобы вступить в серьезные отношения с женщиной.

Еще там, на Уллеволсетере, я начал рассказывать Марии разные истории. Она как будто по моим глазам видела, что я битком набит ими, и понимала, что только она может вытянуть их из меня. Она всегда чувствовала, что я придумал, а что действительно пережил. Мария понимала иронию и метаиронию, а это важная предпосылка для истинной связи.

Я рассказал ей лучшие из моих историй, и она не только слушала, но вставляла свои комментарии, задавала вопросы и внесла много дельных предложений. Однако она всегда соглашалась с тем, как я закончил историю, и не из вежливости, а потому, что понимала: лучший конец ей не придумать. Если бы я сказал что-нибудь глупое или непоследовательное, она бы тут же вмешалась и поправила меня. Но я не говорил ничего глупого или непоследовательного, все, что я рассказал Марии в тот день, было основательно продумано. И она это поняла. Мария была зрелая женщина.

Мы стали спускаться к озеру Согнсванн. Мне не пришлось даже предлагать, чтобы остаток дня и вечер мы провели вместе. В нас все бурлило и пузырилось, как будто мы купались в шампанском.

Думаю, что уже в эту первую встречу меня поразило, что Мария, как обычно и я, не спешила давать гарантий на ближайшее будущее. Сам впервые готов был сказать женщине, что, возможно, она станет

главной в моей жизни, но не знал, позволит ли мне Мария играть такую же роль в ее судьбе.

Не успели мы спуститься к озеру, как пошел дождь. Было душно. Мы поспешили укрыться в роще совсем недалеко от тропинки. Я обнял ее, она — меня. Потом она расстегнула мой ремень, и мы помогли друг другу избавиться от джинсов. Сперва мы слились друг с другом, и только потом я спросил, пользуется ли она противозачаточными таблетками. Она лукаво улыбнулась и отрицательно помотала головой. Я удивился: но почему? Она засмеялась.

— Ты перевернул вопрос с ног на голову, — сказала она.

Я ничего не понял, первый раз я был с девушкой, которую не мог понять.

Она сказала:

— Я не принимаю противозачаточных таблеток, потому что не имею ничего против ребенка.

Я решил, что она ненормальная.

Когда она кончила, я излил семя на кустики черники. Мария опять засмеялась. Она была на десять лет старше всех девушек, с которыми у меня была связь. И ее не растрогало то, что я излил семя на кустики черники ради нее, не принимавшей противозачаточных таблеток. Метра это тоже не растрогало. Он только стоял под дождем в своей мокрой фетровой шляпе и хлестал по вереску тонкой тростью.

Все следующие недели мы с Марией виделись каждый день. Первый раз я встретил девушку, равную мне во всем. У меня и раньше случались приятные встречи, но я никогда не жалел, расставаясь с девушками наутро. Я даже возненавидел наши глупые завтраки. Многие девушки воспринимали завтрак как начало серьезных отношений, тогда как для

меня он означал конец. Но если бы Мария после завтрака ушла от меня навсегда, мне бы ее не хватало. Поскольку мы были похожи, я понимал, что она может исчезнуть в любую минуту. Я видел, что Мария предъявляет высокие требования к тому, с кем проводит время и кого предпочитает собственному обществу. Я по-прежнему был выше этого уровня.

После наших встреч моя голова всегда распухала от всевозможных идей. Мария понимала это. Она просила меня рассказать, о чем я думаю, и я выкладывал ей истории, обычно совершенно новые, придуманные по ходу рассказа. Иногда у меня возникало чувство, что она спит со мной, понимая, что это самый надежный способ услышать новую интересную историю. Я не испытывал никаких угрызений совести, идя на эту сделку, пока соглашение оставалось обоюдным. Я никогда не вел себя предосудительно по отношению к приходившим ко мне девушкам, Мария тоже была честна со мной. Мы были похожи. Одинаково бесстыдны в своей эротической преданности и одинаково циничны в нашей нежности. Мы стремились насытиться друг другом, вопрос был только в том, кто из нас первый поблагодарит другого за угощение.

Однажды вечером мы слушали в опере «Чио-Чио-сан». Мария тоже любила Пуччини, и я очень это ценил. Круг как будто замкнулся, прошло несколько лет, и вот я снова сидел в опере и слушал «Чио-Чио-сан», разница была только в том, что теперь никто не пытался отказать нам в бокале чинзано между первым и вторым актом. Разрыв мадам Баттерфляй с Пинкертоном был столь же болезненным, как и раньше, он разбил хрупкое сердце женщины из Нагасаки, но ни Пуччини, ни его либреттисты не могли

знать, что через несколько десятков лет американцы вернутся и сотрут Нагасаки с лица земли. Был самый разгар Вьетнамской войны, и после представления мы сидели в «Трактире на Стурторгет» и говорили о том, что сейчас в Сайгоне находится не одна тысяча пинкертонов и еще больше баттерфляй.

★ ★ ★

Я нисколько не удивился, когда Мария пришла однажды ко мне в конце августа и сказала, что мы должны подвести черту под нашими отношениями. Мне стало грустно. Я оказался в дураках. Чувствовал себя обнадеженным, как те девушки, которые считали, что четыре или шесть проведенных вместе ночей могут служить гарантией прочных отношений между нами. Не удивился же я потому, что в последнее время Мария не раз говорила, что боится меня. Ей стало страшно смотреть мне в глаза, призналась она. Когда я спросил почему, она отвернулась и сказала, что мои истории действуют ей на нервы, ее пугало то, что она назвала моей «изоощреннoй фантазией». Такая пугливость меня удивила. Позже она настаивала на том, что по-прежнему любит слушать мои рассказы и что ее страшат не сами истории — просто она не уверена, что сможет продолжать интимные отношения с человеком, который больше живет в своем воображаемом мире, чем в действительности. Я по легкомыслию проболтался ей про человечка с бамбуковой тростью и несколько раз говорил, что он сейчас находится с нами в комнате. Иногда правду лучше скрывать.

Мария надеялась получить место хранителя в одном из стокгольмских музеев.

Мы с ней продолжали встречаться, но теперь только раз или два в неделю. Мы были добрые друзья,

между нами никогда не возникало никаких недоразумений. Ведь я и раньше по-дружески относился к девушкам, которые оставались у меня на ночь.

Мы с Марией ходили в кино и в театр, а иногда совершали долгие прогулки по Нурмарке. Я по-прежнему рассказывал ей истории, правда, теперь только по ее просьбе, и больше мы уже никогда не лежали в черничнике. Да и в постели Марии в студенческом городке тоже. Черника созрела. Я тосковал по ее телу.

Однажды теплым вечером в конце лета мы расположились на мысе перед Фрогнерсетером, несколько часов кряду я рассказывал ей длинную историю о шахматах, в которых фигуры были живые. Незадолго перед тем мы разговорились с шотландской парой, шотландцы, показав на Осло-фьорд, сказали, что Норвегия похожа на Шотландию. История рождалась по мере моего рассказа, в ней было много действующих лиц, и Марии особенно понравилось, что я сумел дать им всем шотландские имена. Сюжет истории был примерно такой.

Лорд Гамильтон рано овдовел и жил в большом имении в гористой местности на северо-западе Шотландии. С детства он был страстным игроком в шахматы, и поскольку он очень любил заросший сад позади замка, то приказал устроить шахматную площадку на лужайке между запутанным лабиринтом из зеленой изгороди и большим прудом с карпами. Эта своеобразная шахматная доска была выложена из шестидесяти четырех черных и белых мраморных плит два на два ярда, вырезанные же из дерева фигуры достигали от двух до трех метров в высоту, в зависимости от их ранга. Поздними

вечерами слуги стояли у окон и наблюдали, как лорд ходит по мраморным плитам и передвигает огромные фигуры. Иногда он садился на садовый стул, и часто проходило не меньше часа, прежде чем он поднимался и делал очередной ход.

У лорда был большой колокольчик, в который он звонил, когда хотел, чтобы дворецкий принес ему виски с содовой, и случалось, что дворецкий спрашивал, скоро ли лорд покинет сад и вернется в дом, — он беспокоился о здоровье хозяина. И в то же время думал, что скорбь Гамильтона по умершей жене вкупе со страстным интересом к шахматам в один прекрасный день доведет его до безумия. Огорчение дворецкого только усилилось, когда однажды вечером лорд попросил его встать на шахматную доску и изобразить собой коня, поскольку эту фигуру забрали в мастерскую для ремонта — она пострадала во время сильной грозы. Почти два часа дворецкий простоял на шахматной доске, и всего несколько раз лорд выходил на мраморные плиты и передвигал его на две клетки вперед и одну вбок или на одну клетку назад и две вбок. Наконец он был побит белым слоном и смог вернуться в дом за несколько часов до окончания партии, дворецкий замерз и был возмущен, но, естественно, испытывал также большое облегчение.

Когда лорд передвигал фигуры, никто не мог понять, на чьей он стороне в этой игре. Он играл одинаково хорошо и «за» и «против» себя, то есть выигрывал и проигрывал одновременно каждую партию, если только она не кончалась ничьей. Все чаще случалось, что лорд убирал фигуры с клеток и ставлял просто на лужайке. Он мог часами сидеть и смотреть на мраморные квадраты. В имении

говорили, что теперь лорд видит фигуры там, где их нет, он играл в шахматы с самим собой, не вставая со стула, на котором сидел.

Дворецкий долго как мог старался отвлечь лорда от шахмат и однажды вечером предложил ему устроить летний бал, как бывало при жизни покойной госпожи. Это был один из тех редких вечеров, когда лорд, который по большей части предпочитал собственное общество, пригласил дворецкого выпить с ним виски, и они уселись возле пруда с карпами с бокалом виски в одной руке и дымящейся сигарой — в другой. Некоторое время лорд сидел, следя глазами за одним карпом, потом повернулся к дворецкому и объявил, что ему нравится предложение устроить бал и, возможно, это будет своеобразный маскарад.

После этого они несколько часов просидели за составлением списка гостей, и, когда Гамильтон объявил число гостей — ровно тридцать один человек, ни больше ни меньше, — дворецкий встревожился, потому что прекрасно знал, что в шахматах тридцать две фигуры, и еще он хорошо помнил, как сам часа два простоял на «шахматной доске», к удовольствию бесчувственного лорда. Лорд и не скрывал, что затевает маскарад ради шахматной партии с живыми фигурами, дабы развлечь гостей после обеда. Через несколько дней были разосланы приглашения, из которых следовало, что в имени лорда Гамильтона состоится шахматный маскарад и по этой причине гостей просят прибыть в костюмах короля, королевы, ладьи, слона, коня или пешек. На роль пешек приглашены были жившие по соседству фермеры — восемь мужчин и восемь женщин, остальные фигуры должны были изображать армейские офицеры, чиновники и аристократы.

Дворецкий нисколько не удивился, что все с благодарностью приняли приглашение, ибо хотя лорд Гамильтон в последние годы и жил как отшельник, и его дом, и он сам пользовались всеобщим уважением. Если не считать герцога Аргайля, которого просили явиться в костюме короля, все приглашенные в знатности уступали лорду. Для фермеров уже одна возможность посетить имение лорда Гамильтона была сама по себе настоящим событием, потому что там, как и на мраморной площадке, строго блюли табель о рангах.

За несколько недель до маскарада, который должен был состояться летним вечером, никто ни о чем другом не говорил и не думал. Один из фермеров был вынужден отказаться от приглашения — кто-то у него в семье захворал, — но найти новую крестьянскую пару для участия в празднике было просто. Фермеров в округе хватало, и к тому же им не требовалось шить к вечеру костюмы, ведь они должны были представлять самих себя.

День настал, и уже во время обеда было завязано много знакомств, невзирая на ранг и происхождение. Затем в саду подали кофе и десерт, и вскоре лорд Гамильтон зазвонил в большой колокольчик, чтобы привлечь к себе внимание гостей. Все уже заранее поняли, что должна состояться партия в шахматы на мраморных плитах с гостями в качестве живых шахматных фигур, но сперва лорд хотел показать каждому гостю его место на мраморном шахматном поле.

За столом гости сидели не по чину, как будто случайно, но на шахматном поле такое было недопустимо. Сначала лорд расставил пешки — восемь фермеров и восемь их жен. Фермер Мак-Лин — белая

пешка — встал на a2, напротив, на a7, стояла его жена, черная пешка. Справа от него клетку b2 занимала миссис Мак-Дональд, а ее муж, черная пешка, — клетку b7. Благодаря такой расстановке все супружеские пары могли через поле следить друг за другом и даже наблюдать, как их половина общается с соседней пешкой, справа или слева от нее. Та же логика была использована и при расстановке остальных фигур. Белый конь — полицмейстер Мак-Лаклан — занял клетку b1 позади фермерши Мак-Дональд, тогда как его жена — черный конь — стояла на клетке b8 позади пешки Мак-Дональда, занимавшего клетку b7. Две партии, шестнадцать мужчин и шестнадцать женщин, выстроились на поле друг против друга, эти партии состояли из представителей двух полов, половинок супружеских пар. Нарушали эту симметрию только позиции королей и королев. Лорд Гамильтон занял место белого короля на поле e1, слева от него на d1 стояла герцогиня в качестве белой королевы, а напротив, на e8, стоял герцог Аргайль — черный король. Но поскольку леди Гамильтон покинула этот мир, роль черной королевы на d8 Гамильтон отдал вдове Мак-Куин, с которой беседовал иногда, встречая ее в городе или на кладбище, и которая весьма ему нравилась.

Только короли могли решать, какая фигура должна сделать очередной ход, все остальные были лишь статистами в этой игре. Лорд Гамильтон не скрывал, что шахматная партия будет долгой, может быть, даже затянется до рассвета, потому что и он, и герцог были опытными шахматистами, но раз уж игра была затеяна для развлечения гостей, фигурам не возбранялось поближе познакомиться друг с другом. В конце концов, все они были люди, так

пусть занимают друг друга, пока лорд Гамильтон или герцог Аргайль решают, какая фигура должна сделать очередной ход. По мере того как участники выбывали из игры, они могли общаться друг с другом в большом саду.

Лорд Гамильтон начал партию, приказав своей белой пешке перейти с e2 на e4, и герцог Аргайль ответил, передвинув миссис Мак-Артур с e7 на e5, — игра началась. Дворецкий метался с подносом по шахматному полю, подавая бокалы тем, кто хотел утолить жажду, и он лучше всех видел то, что происходило на поле. Сам он не очень интересовался шахматами, но вскоре с любопытством обнаружил, что на мраморном поле постепенно нарастает напряжение. Мы расскажем только об одной из многочисленных драм, но зато о самой главной.

Мэри-Энн Мак-Кензи, необыкновенно привлекательная женщина лет двадцати пяти, на шахматном поле играла роль белой пешки, стоя на d2 напротив своего мужа Яна Мак-Кензи на d7. Ян был намного старше жены и пользовался славой ловеласа. Даже после женитьбы на Мэри-Энн у него не переводились любовницы, он заигрывал и с замужними женщинами, некоторые из них стояли сейчас на шахматном поле лорда с бокалами сладкого вина в руках.

Долгие годы все сочувствовали красавице Мэри-Энн. Поговаривали, что Мак-Кензи не только неверный муж, но еще и домашний деспот. В этом супруги были прямой противоположностью друг другу. Мэри-Энн слыла самой красивой девушкой на всем Шотландском нагорье. Она была так привлекательна, что вне всякого преувеличения не оставляла равнодушным никого, ни мужчин, ни женщин. Было

в ней что-то такое, что лишало сна даже женщин, которые признавались, что по ночам часто не спят, с нежностью думая о Мэри-Энн.

Если Ян был возмутителем спокойствия, частенько угрожавшим целостности многих браков, Мэри-Энн, как ни парадоксально, не представляла опасности для благополучия семейных очагов. Влечение к ней обоих супругов примиряло мужа и жену — так эта непостижимая женщина только укрепляла связь между супругами. Нужно, наверное, добавить, что и обоюдное влечение супругов возбуждалось благодаря их общей страсти к Мэри-Энн Мак-Кензи.

Первой фигурой, которая в тот вечер у лорда Гамилтона выбыла из игры, оказалась Мэри-Энн. Теперь она могла гулять по большому парку, бродить в зеленом лабиринте или, стоя у пруда с карпами, бросать рыбам крошки печенья. Конечно, Яну было неприятно, что его жена получила такую свободу в самом начале игры. С первой минуты он внимательно следил за ней.

Следующей мраморные плиты пришлось покинуть Эйлин Мак-Бридж, черной пешке на d7. Опьяненная красотой огромного парка, прелестью летней ночи и сладким вином, Мэри-Энн тут же схватила миссис Мак-Бридж за руки и пустилась с нею в пляс на большой лужайке. Вскоре они, держась за руки, убежали в лабиринт, и многие на поле могли видеть, как Мэри-Энн и Эйлин стоят там, хлопая в ладоши и целуя друг друга. Хэмиш Мак-Бридж тоже видел, что происходит в лабиринте, и радовался за жену, он не ревновал, зная, что подвернись ему такая возможность, он первый бы начал ласкать Мэри-Энн. Прошло много времени, прежде чем еще несколько гостей смогли покинуть мраморную площадку.

Эта запутанная история стала предметом бесконечных комментариев и обсуждений, но здесь она будет пересказана как можно короче, в общих чертах.

Стояла волшебная ночь, казалось, будто эльфы и ангелы-хранители управляли тем, что случилось той летней ночью. Лорд и герцог все больше сосредоточивались на игре, но партия слишком медленно подвигалась к завершению, и вскоре сад уже кишел гостями, покинувшими свои места на мраморном поле. Все толпились вокруг Мэри-Энн, и даже те, кто никогда раньше ее не видел, кружили возле нее, полные восхищения и страсти.

Впервые в жизни Мэри-Энн почувствовала вкус свободы и могла быть самой собой, могла дарить свою неиссякаемую любовь, и, добрая по природе, она наслаждалась, однако, видом Яна, которого герцог по-прежнему передвигал то туда, то сюда по мраморным плитам. Ян Мак-Кензи оставался на поле до тех пор, пока герцог Аргайль не объявил лорду Гамильтону мат, но это случилось уже на рассвете. У Мэри-Энн были все основания опасаться, что Ян захочет наказать ее, когда они вернутся домой, но пока что она об этом не думала, она помнила только о многолетних изменах Яна и верила, что в мире существует справедливость. Пока еще это была ее ночь.

По мере того как на мраморной площадке оставалось все меньше фигур, гости становились более разнузданными, и говорят, будто Мэри-Энн дарила свою любовь всем, кто той ночью был в саду лорда. Ян Мак-Кензи, вынужденный оставаться на мраморных плитах, наблюдал, как его жена стала королевой бала и предметом всеобщего вожделения, участницей сладострастной игры, в которую позволила себя

вовлечь в эту неповторимую ночь. В каком-то смысле Мак-Кензи оказался пригвожденным к позорному столбу. Он был не в состоянии вмешаться, потому что просить разрешения выйти на время из игры до конца партии было бы еще большим позором и оскорбило бы гостеприимство лорда Гамильтона. Все чаще и чаще Ян поднимал руку, прося дворецкого налить ему еще виски в бокал, который он все время держал в руке. Вскоре он уже нетвердо стоял на ногах, но по-прежнему мог наблюдать за Мэри-Энн, которая снова и снова, играя, вбегала в лабиринт с очередной женщиной, мужчиной или даже супружеской парой. В ту ночь в саду лорда не знали, что такое ревность. Все любили Мэри-Энн и, таким образом, любили друг друга.

Как только лорд Гамильтон признал, что герцог Аргайль поставил ему мат, и пожал руку сопернику, Мак-Кензи побрел в парк, чтобы отыскать свою жену. Он нашел ее сидящей на траве в обнимку с супругами Мак-Айвер, вырвал ее из их объятий и со всей силой ударил по лицу. Но его тут же окружили фермеры и офицеры, принимавшие участие в игре, и полицмейстер Мак-Лахлан, верный своему долгу белого коня, отправил Яна в каталажку.

Мэри-Энн не покинула в то утро имение лорда Гамильтона, о возвращении домой к Яну не могло быть и речи, и лорд, которому нужна была новая экономка, предложил ей остаться в имении.

Гамильтон помнил все ходы шахматной партии с герцогом Аргайлем, для верности он записал их, ему хотелось внимательно изучить партию, чтобы понять, где он ошибся и потому проиграл. Его постоянно видели в саду, где он, ход за ходом, повторял партию на мраморных плитах. Случалось, Мэри-Энн

сидела на стуле у пруда с карпами и разговаривала с лордом.

Некоторое время еще ходила восторженная молва о той ночи в имении лорда Гамильтона, и никто не жалел, что Мэри-Энн наконец отплатила мужу за многолетние обиды. Однако если в ту ночь сад Гамильтона оберегали эльфы и ангелы-хранители, то закончили эту игру черные эльфы и ангелы смерти. Вскоре в округе случилось несколько дерзких убийств, и после третьего преступления полицмейстер Мак-Лаклан сообразил, что все убитые принимали участие в игре на мраморной шахматной доске лорда Гамильтона несколько недель или месяцев тому назад. После пятого убийства дворецкий лорда Гамильтона посетил полицмейстера и сообщил ему, что все жертвы лишились жизни точно в той последовательности, в какой покидали мраморную площадку. Это были две пешки, два слона и один конь. Исключение составляла лишь Мэри-Энн Мак-Кензи, первой в ту ночь покинувшая игру и убежавшая в сад. Полицмейстер Мак-Лаклан, не забывший небесной красоты Мэри-Энн, отнесся к этим сведениям с большим интересом. Ему было нетрудно понять, почему дерзкий убийца пощадил прекрасную молодую женщину. Убийца — или убийцы — хотели избавиться от всех соперников и в одиночку владеть прелестной Мэри-Энн, думал он, это значит, что подзреваемых очень много.

Тем временем произошли шестое и седьмое убийства, и они тоже представляли собой злое повторение той роковой шахматной партии. Теперь полиция хотя бы знала, кто окажется следующей жертвой, и, разумеется, брала ее под охрану, однако предотвратить новые убийства не могла.

Почти всегда жертву убивали в лесу или на поле, и всегда острым ножом мясника. Вскоре уже почти половина участников маскарада у лорда Гамильтона лишилась жизни, и теперь убийца подбирался к лорду и герцогу, не говоря уже о самом полицмейстере, который шестнадцатым покинул мраморную площадку.

Первым на подозрении был, разумеется, Ян Мак-Кензи, который в ту роковую ночь был так жестоко унижен собственной женой. Теперь к тому же он навсегда ее потерял. Не считая лорда и герцога, Мак-Кензи был последним, кто оставался на шахматном поле, и, таким образом, во всяком случае теоретически, мог запомнить каждый ход, сделанный в этой игре. Его было взяли под арест, но после тринадцатого и четырнадцатого убийств, произошедших, когда он находился под арестом, похлопав по плечу, его выпустили на свободу.

Лорда тоже вызвали на допрос. Ведь это он проиграл ту шахматную партию, как будто несколько не огорчившись, к тому же он, один из немногих, знал все ходы этой партии. Полиции пришлось даже спросить у лорда, зачем он вообще устроил весь тот экстравагантный маскарад.

Когда дворецкого пригласили в полицию, чтобы он дал свидетельские показания, между ним и лордом возникли некоторые разногласия, но в числе подозреваемых дворецкий не был. Он показал в полиции, что до и после той роковой ночи его весьма беспокоило душевное состояние лорда Гамильтона.

Фермерскую чету, которая за несколько дней до маскарада сообщила, что не может принять в нем участие, тоже допросили и вычеркнули из числа подозреваемых.

В конце концов Мэри-Энн поймали на месте преступления, когда она прокралась в сарай Мак-Айвера и всадила фермеру в грудь мясницкий нож.

Мэри-Энн с легкостью проникала и в крестьянские усадьбы, и в городские адвокатские конторы, и в крупные имения. Ей ничего не стоило заманивать в лес и на пустоши местных мужчин и женщин.

Мак-Лахлан, опытный полицейский, спросил Мэри-Энн, что толкнуло ее на столь зверские убийства, каких в Шотландии никогда раньше не случалось.

Прекрасная Мэри-Энн ответила, что толкнул ее на это позор.

То была волшебная ночь, и бедная женщина до сих пор помнила все губы, которые она тогда целовала, и все страстные объятия, на которые отвечала, побуждаемая желанием и нежностью, но вот впоследствии она горько раскаялась в своей несдержанности. Она могла бы просто покончить с собой, но это ничего бы не изменило. Мэри-Энн была невыносима мысль, что кто-то из гостей лорда запомнит, как она бегала среди кустов и отдавалась чуть ли не всей Шотландии.

Мэри-Энн повесили в Глазго спустя несколько месяцев, на казнь собралось много народу, и все горько оплакивали ее смерть.

* * *

В сентябре я начал изучать историю. Случалось, я приглашал к себе кого-нибудь из студенток на красное вино с сыром или на пиво с яичницей. Иногда я жарил мясо или тушил баранину с капустой, готовил рыбный суп или маринованную селедку.

Я с напряжением ждал, когда Мария объявит, что получила то место в Стокгольме, на которое

претендовала. Однажды вечером она позвонила и попросила разрешения прийти ко мне. Она явилась с большим букетом желтых роз. Розы, как ни странно, предназначались мне. Я не понял цели ее прихода, но все это было явно неспроста.

Мы сидели, склонившись над столом в кухне, и держали друг друга за руки. Я выключил свет. Горела только одна свеча, стоявшая на столе между нами. Мы выпили бутылку красного вина за семь крон.

Я был рад, что Мария вернулась ко мне. Но все-таки попросил ее объяснить, что случилось.

Сперва она сказала, что получила то место в Стокгольме и уезжает в декабре. Я подумал, что, может быть, мне тоже понравится жить в Швеции, но прежде, чем успел что-либо сказать, Мария произнесла нечто навсегда закрывшее мне путь в Стокгольм.

Она посмотрела мне в глаза и сказала, что у нее есть ко мне одна просьба. Но это растянется уже на всю жизнь.

По мне пробежала дрожь. Первый раз мне предлагали что-то, что могло растянуться на всю жизнь. Я смаковал слово «растянуться», оно мне очень нравилось. Это было красивое слово.

— Я хочу забеременеть от тебя до того, как уеду в Стокгольм, — сказала она.

Я снова почувствовал, что из всех знакомых женщин Мария единственная, кого я не всегда понимал. Именно это мне в ней и нравилось. Невозможно любить женщину, которую всегда хорошо понимаешь.

— Я хочу забеременеть от тебя, — повторила она.

Я еще не осознал всех последствий того, что она сказала. Сидел и думал о том, чем обернется для меня переезд в Стокгольм. Нужно ли мне продать свою квартиру в Осло? Или лучше просто на время ее сдать?

Но тут Мария заявила, что не намерена прожить всю жизнь с одним человеком. Этим она не отличается от меня, было сказано мне. Мария хорошо меня знала, я рассказывал ей о всех девушках, которые ко мне приходили. Я почувствовал, что столкнулся в дверях с самим собой.

Мария хотела только родить от меня ребенка. Она призналась, что я единственный мужчина, от которого она хотела бы иметь ребенка, это она поняла еще во время нашей первой встречи на Уллеволсетере, но связать свою жизнь со мной она не может. Она просила меня подарить ей ребенка. Просила, чтобы я, грубо говоря, ее осеменил.

Я засмеялся. Такая мысль была мне по душе. Мне по душе было позволить женщине родить от меня ребенка, не взяв на себя при этом никаких обязательств.

Мы долго сидели и обсуждали ее предложение, но говорили об этом несерьезно. Шутили и смеялись. Мария хотела, чтобы мы начали сейчас же, и это было очень соблазнительно. Мы могли бы быть вместе до тех пор, пока она не забеременеет. После этого она уедет в Стокгольм.

Страх перед возможностью заиметь ребенка у меня не было. Другое дело, окажусь ли я на это способен? Сама мысль взглянуть в глаза собственному ребенку была мне неприятна. Я никогда не любил, чтобы меня гладили по голове или похлопывали по щеке. Как я сам смогу оказаться тем, кто похлопывает ребенка по щеке?

Я учитывал и такие аспекты. Я не хотел иметь ребенка, но мог помочь Марии. Чем дольше мы говорили, тем больше я убеждался, что она предложила мне блестящую идею. Она настаивала на том, что мы должны заключить соглашение. Должны обещать,

что не будем искать друг друга после того, как она переедет в Стокгольм, сказала Мария. Мы никогда больше не встретимся. У меня не будет даже ее адреса. Точно так же мы должны поклясться друг другу всем святым, что мое отцовство останется нашей с ней тайной. Мне она сообщит только, кто у нее родится, мальчик или девочка.

Я был так захвачен этим сюжетом, что кровь бросилась мне в голову. Мало сказать, что Мария была мне равна, — она превосходила меня в смелости и одаренности.

Я был совсем не против, чтобы женщина забеременела от меня и родила ребенка, который будет принадлежать только ей. Мне всегда хотелось размножиться, нравилось свободно совокупляться и никогда не прельщало то, что называют авторским правом. У меня не было потребности срывать аплодисменты за свои поступки или за то, что останется после меня, так было с самого детства. Мне никто не аплодировал за вызванные мною такси, и хотя сама по себе это была прекрасная мысль, благодарности за нее я не ждал.

Нам предстояло часто встречаться на этих днях. Это было нелегко. Мне всегда было трудно загадывать вперед дальше, чем на несколько дней. Я внимательно отношусь к прошлому и к тому, что случается в настоящем, но я никогда не вел счет дням, которые еще не наступили. Марии я сказал, что принимаю ее условия и считаю для себя честью, что она захотела родить ребенка именно от меня. Мало того, это для меня истинное удовольствие, сказал я. И мы с ней долго смеялись. Это был вульгарный смех. Но он возбуждал нас.

Прошло несколько изумительных недель, я до сих пор уверен, что лишь тогда и жил по-настоящему.

Наши особые отношения *ad hoc*²⁰ мы называли любовью. Но мы не могли целый день лежать в постели и делать ребенка. И все-таки мы жили вместе двадцать четыре часа в сутки. Мы совершали долгие прогулки и по городу, и по Нурмарке, я рассказывал Марии свои самые безумные истории. Особенно ей понравился рассказ о ювелире, преднамеренно совершившем тройное убийство после своей смерти. Я рассказал ей и сюжет, который продал писателю в «Клубе 7». Ведь она все равно уезжала из страны.

Некоторые истории мне приходилось рассказывать по два-три раза. Мария сказала, что хотела бы выучить их наизусть. Трудность заключалась в том, что я никогда не мог изложить одинаково один и тот же сюжет. Мария то и дело вмешивалась и вносила поправки. Она не понимала, почему лучше меня, почти слово в слово, запоминает то, что я рассказал. Я объяснял это тем, что импровизация — единственное искусство, которым я владею.

Наконец наступил день, которого мы оба ждали, Мария — с радостью, я — с печалью. Тест на беременность оказался положительным, Мария хлопала в ладоши и ликовала. Она пошутила, что я буду «замечательным папой». Мы посмеялись и над этим.

Она прожила в Осло еще месяца два. Теперь мы опять виделись реже. Иногда она звонила мне и спрашивала, не хочу ли я приехать к ней в Крингшё и рассказать какую-нибудь историю, я не заставлял долго себя просить, но мне казалось странным, что частица меня живет в ее теле.

Потом Мария уехала в Стокгольм. Она позвонила мне перед отъездом. На поезд я ее не провожал.

²⁰ Для этого (лат.).

Итак, я оказался подходящим мужчиной, чтобы подарить женщине ребенка, который не должен был мне принадлежать. Почему бы и нет, если Марии так хотелось его иметь? Это было проще простого. Мне это ничего не стоило. Напротив, я считал, что благодарным должен быть я. Но все имеет обратную сторону, тогда я не думал, что рано или поздно мне придется за это заплатить и что цена окажется высокой. Ведь мы не собирались больше встречаться.

Тем не менее прошло несколько лет, прежде чем наш клятвенный уговор по-настоящему вошел в силу. Мария приезжала с дочкой в Осло четыре раза. Она называла малышку Золотко, но, конечно, у девочки было и другое имя. Думаю, Мария пользовалась этим ласковым прозвищем, чтобы я не узнал настоящего имени ее дочери. Когда я видел девочку в последний раз, ей было почти три года. Тогда мы обновили наш договор: больше мне видеть ребенка не полагалось. Мария не хотела, чтобы у девочки сложилось какое-то представление о ее отце. Да и у меня о ней тоже, если на то пошло, ведь я не был ей настоящим отцом.

Девочка была очень хорошенькая. Мне казалось, что она не похожа ни на Марию, ни на меня, скорее, на мою мать — такие же высокие скулы и широко поставленные глаза. Я представлял себе, что мама родилась заново и это я дал ей новую жизнь. Естественно, я понимал, что все это только фантазии.

Последний раз я видел Марию с девочкой теплым июньским вечером 1975 года. Мы пробыли вместе всего несколько часов и провели их у озера Согн-сванн. У нас были с собой раки, французский батон и белое вино. Мы с Марией вспоминали былые

времена, а девочка плескалась у края воды с надувным лебедем. Когда она вышла из воды и захотела сока с печеньем, я сам завернул ее в махровое полотенце и вытер досуха — и дочь, и мать разрешили мне это сделать. Я также помог ей надеть платице, это подразумевалось само собой. Мария когда-то сказала, что из меня получится «замечательный папа».

Золотко сидела на полотенце между Марией и мною, и я рассказал ей длинную сказку или, как я сказал, сагу. Она начала смеяться еще до того, как я стал рассказывать. Не знаю, понимала ли она то, что я говорил, и потому смеялась, но я пытался употреблять шведские слова, чтобы ей было легче меня понять.

Я рассказывал о маленькой девочке, которой было столько же лет, сколько Золотку, ее звали Панина Манина, и она была дочерью директора цирка — самого большого и известного во всем мире.

Цирк приехал в Стокгольм из далекой страны, чтобы поставить свой шатер на Грёна-Люнд в самом центре шведской столицы, он прибыл по приглашению шведского короля и королевы. Длинной вереницей цирковые машины и повозки проехали через Сконе и Смоланд. В них везли слонов и морских львов, медведей и жирафов, лошадей и верблюдов, собак и обезьян. Кроме того, в машинах ехали клоуны и жонглеры, факиры и канатоходцы, дрессировщики и наездники, музыканты и фокусники. Панина Манина была единственным ребенком в этой большой процессии. С ней обращались как с маленькой принцессой, потому что она была дочерью директора цирка, все говорили, что ее ждет судьба знаменитой циркачки.

Золотко сидела прямо, как зажженная свечечка, и слушала мой рассказ, но сама молчала, так что я не был уверен, все ли она понимает. Я надеялся, что она запомнит хотя бы голос, рассказывавший ей эту историю. Я взглянул на Марию, и она сделала мне знак продолжать. Думаю, она была рада, что ее дочка увезет с собой мой рассказ. К тому же Метр сел, прислонившись к дереву, чтобы послушать, чем кончится эта история. Перед тем как сесть, он приподнял свою зеленую фетровую шляпу и заговорщицки мне подмигнул. Кажется, он был в отличном настроении. Наверное, впервые чувствовал себя членом семьи.

Я рассказал, что все машины и цирковые повозки остановились на обеденный отдых возле большого озера в глубине шведских лесов и дочка директора цирка захотела поплескаться в воде, пока другие будут отдыхать.

Директор цирка думал, что за девочкой последит один из клоунов, но клоун почему-то решил, что, пока взрослые будут жарить кабана на большом костре, за девочкой будет приглядывать дрессировщик. Когда несколько часов спустя цирковой поезд собрался ехать дальше, девочки на месте не оказалось, и никто не мог ее найти. Артисты искали ее весь вечер и всю ночь, даже некоторых животных выпустили на свободу в надежде, что те отыщут девочку по запаху, но все было напрасно. Проискав Панину Манину почти весь следующий день, все решили, что она утонула в озере. Два верблюда несколько часов стояли на берегу и пили воду, они все пили и пили, и многим пришло в голову, что, должно быть, верблюды учуяли в воде запах девочки и захотели выпить все озеро до дна. Но в конце концов верблюды утолили

жажду, а дочь директора цирка так и не нашлась. Говорят, что много лет после этого директор цирка каждую ночь плакал во сне, Панина Манина была его любимицей, он любил ее больше, чем весь свой цирк...

Я сделал вид, что вытираю слезы, и почувствовал, что девочка с удивлением смотрит на меня. Золотко как будто поняла последнюю часть моего рассказа, ведь она сама только что тоже плескалась в воде у берега, поэтому я поспешил продолжить рассказ.

Но Панина Манина не утонула. Просто, пока взрослые сидели у костра, пили вино и ели жареное кабанье мясо, она отправилась в небольшое путешествие по лесу. Она пошла по тропинке в глубь леса, но вскоре у нее устали ножки, и она села в вереск среди высоких деревьев. Послушав, как воркуют голуби и ухают совы, девочка крепко уснула. Когда она проснулась, ей показалось, что прошло всего несколько минут, но на деле она проспала всю ночь и даже часть следующего дня, солнце стояло уже высоко. Панина Манина снова зашагала по тропинке, чтобы вернуться в лагерь циркачей, но, сколько ни искала, не нашла ни одной цирковой повозки и вскоре окончательно заблудилась. Поздно вечером она вышла к человеческому жилью — красному домику с шведским флагом. Перед домиком стоял розовый жилой автоприцеп, наверное, он-то и привлек внимание Панины Манины, потому что напомнил ей цирковые повозки. Хотя девочке было всего три года, она подошла к прицепу и постучала в дверь. Ей никто не открыл, тогда она вскарабкалась на каменное крыльцо красного домика и постучалась туда. Дверь открылась, и на крыльцо вышла старая женщина. Панина Манина нисколько

не испугалась, ведь она была истинной циркачкой. Она посмотрела на незнакомую женщину и объяснила, что потеряла своего папу, но старая женщина не понимала ее языка, потому что Панина Манина приехала из далекой страны, в которой хозяйка домика никогда не была. Панина Манина не ела почти два дня и поднесла обе ручки ко рту, чтобы показать, что хочет есть. Когда женщина поняла, что девочка заблудилась в лесу, она впустила ее в дом. Она дала ей селедки, тефтелей, хлеба и сока из черной смородины, Панина Манина была так голодна, что ела и пила как взрослая. Вечером женщина постелила ей постель, а поскольку они не могли разговаривать, хозяйка, присев на край кровати, запела колыбельную и пела ее, пока девочка не уснула. Не зная, как зовут девочку, она называла ее просто Золотая...

Золотко снова подняла на меня глаза, может быть, потому, что я показал, как Панина Манина ела селедку и тефтели, а может, потому, что девочка в рассказе получила имя Золотая. Скорее всего, она плохо понимала смысл рассказа, однако я продолжал.

Панина Манина прожила в красном домике много лет. Никто во всей Швеции не знал, откуда она и кто ее родители, и с годами воспоминания Панины Манины о директоре цирка становились все туманнее. Вскоре она уже бегло болтала по-шведски, а потом и вовсе забыла родной язык, потому что ей не с кем было на нем разговаривать. Но — тут я поднял палец, чтобы показать, что забыл сказать что-то очень важное, — у хозяйки красного домика в шкафу в спальне был спрятан старинный хрустальный шар. Когда-то много-много лет назад она зарабатывала себе

на хлеб, предсказывая людям судьбу в большом парке в Лунде. Теперь она снова достала хрустальный шар и предсказала, что ее Золотая Девочка со временем станет известной канатоходкой. Поэтому она как могла начала учить ее этому ремеслу. Девочка ходила по жердочке, по веревке, по краям бочек и чанов, и вот настал день, когда она уже могла показать свое искусство настоящему директору цирка. Прошло тринадцать лет с тех пор, как Панина Манина постучала в дверь красного домика. Гадалка прочитала в газетах, что в Стокгольм из далекой страны приехал знаменитый цирк, и в один прекрасный день старуха с девочкой отправились в шведскую столицу искать счастья. Это был тот же самый цирк из далекой страны, который приезжал в Стокгольм тринадцать лет назад, но Панина Манина уже не помнила, что когда-то давным-давно была в нем. Директору иностранного цирка очень понравилось искусство шведской девочки, и кончилось тем, что он принял ее в свою труппу. Ни Панина Манина, ни директор цирка даже не подозревали, что она его родная дочь...

Мария вопросительно посмотрела на меня. Ей всегда было интересно, как я заканчиваю свои истории. Может быть, в тот раз она особенно насторожилась, потому что мою историю слушали еще и маленькие ушки.

Говорят, что кровь гуще, чем вода, — продолжал я свой рассказ, — может быть, именно поэтому Панина Манина и директор цирка с первого взгляда понравились друг другу. Во всяком случае, Панина Манина решила вернуться с цирком в ту далекую страну,

из которой он приехал, и там она широко прославилась как канатная плясунья. Однажды вечером, танцуя на канате высоко над манежем, она бросила взгляд на директора цирка, который стоял перед оркестром с хлыстом в руке, и там, наверху, она вдруг поняла, что директор цирка ее отец, оказывается, она не совсем забыла его. Такие мгновения называют моментом истины, объяснил я. В замешательстве Панина Манина потеряла равновесие и упала на манеж. Когда директор цирка подбежал к ней, чтобы посмотреть, сильно ли бедняжка ушиблась, она протянула к нему руки и душераздирающим голосом воскликнула: «Папа! Папа!..»

Золотко с удивлением посмотрела на меня и засмеялась, но, думаю, она не много поняла из моего рассказа. Другое дело Мария—та подняла на меня сердитый взгляд. Было ясно, что ей не понравился конец рассказа.

Заходящее солнце освещало нашу последнюю семейную встречу. Мы сложили вещи и направились к трамваю. Девочка бежала впереди нас по тропинке. «Папа! Папа!» — бормотала она. Мария взяла меня за руку и сжала ее. В глазах у нее стояли слезы. Приехав в город, мы разошлись в разные стороны. Больше я никогда не видел ни Марии, ни Золотка. Они ни разу не дали знать о себе.

Помощь писателям

Прошло двадцать шесть лет, я сижу у большого двойного окна и смотрю вниз на море. Солнце стоит низко, бухта словно покрыта сусальным золотом. Лодка с туристами держит курс к молу, они ездили осматривать смарагдово-зеленый грот в нескольких километрах отсюда.

Сам я совершил долгую прогулку мимо лимонных рощ по Мельничной долине, поднявшись высоко над городом. Люди здесь добрые и приветливые. Какая-то женщина в черном платье высунулась из окна и протянула мне рюмку лимонного ликера.

Я внимательно смотрю себе под ноги. Наверху, в Мельничной долине, я не встретил ни одного человека, но, несмотря на это, а вернее, именно потому, не чувствовал себя в безопасности. Несколько раз я останавливался и оглядывался. Если кто-нибудь последовал сюда за мной из Болоньи, то в этой узкой долине среди развалин старых бумажных мельниц прикончить меня было бы очень просто.

Для безопасности я всегда запираю дверь своего номера. Если кто-то проникнет ко мне, он сможет запросто выбросить меня из окна. Окна здесь низкие, а до старой дороги на берегу довольно далеко,

к тому же там всегда много машин. Это выглядело бы как самоубийство или несчастный случай.

Гостей в пансионате мало, вчера вечером к ужину вышли всего три супружеские пары, один немец моего возраста и я сам. Очевидно, на Пасху здесь соберется больше народу, но до нее еще несколько дней.

Немец бросал на меня долгие взгляды, наверное, хотел познакомиться — мы с ним единственные сидели в одиночестве. Пришлось спросить, не встречались ли мы раньше. Я бегло говорю по-немецки.

Вечером, перед тем как лечь, я тщательно проверил, заперта ли дверь номера. Бара я избегал. У меня с собой было виски, в углу уже стояла пустая бутылка. Если меня одолевало одиночество, я всегда мог поговорить с Метром. Он имел обыкновение оказываться рядом, когда я нуждался в обществе. Я прожил здесь уже четыре дня.

Паук запутался в своей паутине. Он сам соткал ее из тонких нитей, но потом оступился и теперь пойман в собственные сети.

* * *

Только сейчас я понял, что Мария бессовестно предала меня. На свой лад она превзошла меня в цинизме. Понимая, что я никогда не полюблю другую женщину, она позаботилась о том, чтобы вернуть прошлое было невозможно. Воздвигла между нами стену.

Я впервые думал так о Марии. Это поразило меня. Я как будто только теперь начал приходить в себя после смерти матери. Отец умер год назад. Думаю, я безгранично любил маму.

Я по-прежнему живу с чувством, что забыл что-то очень важное. Как будто я всю жизнь старался

не вспомнить того, что случилось в моем детстве. Но оно еще не совсем исчезло, оно все еще плавает в темной глубине под тонким льдом, на котором я танцую. Как только я расслабляюсь и пробую вспомнить то, что хочу забыть, мне приходит в голову какая-нибудь интересная мысль и я начинаю сочинять новую историю.

Все чаще и чаще собственное сознание пугает меня. Оно как привидение, над которым я не властен.

Марию в свое время тоже пугала моя фантазия. Она была очарована моими рассказами, но и сильно напугана ими.

* * *

Когда Мария уехала, мир был открыт для меня, я воспринял это как освобождение. Прошло много времени, прежде чем я стал снова искать знакомства с девушками, кроме того, я бросил занятия — я чувствовал себя слишком взрослым для студента. Никогда еще после смерти мамы мир не был так открыт для меня.

Я много думал о том молодом писателе, который за сюжет для романа расплатился со мной бутылкой вина и сотней крон. Дома у меня лежало несколько десятков записанных сюжетов. Его роман вышел через два года и был тепло встречен критикой.

Я заходил иногда в «Клуб 7», в «Казино», в погребок Тострупа и в Дом художника. Там легко было завести с кем-нибудь разговор. Вскоре я знал уже почти всех, с кем стоило беседовать в нашем городе. Трудность заключалась в том, что в первое время у меня совсем не было денег.

Меня считали неглупым молодым человеком с богатым воображением. Иначе и быть не могло. Я всегда

выбирал в собеседники людей старше меня, предпочтительно мечтателей и бездельников, имевших художественные амбиции, во всяком случае, сами они считали себя людьми искусства. Мне они казались ограниченными. Некоторые уже выпустили сборник стихов или роман, другие говорили, что пишут или хотели бы что-нибудь написать. Так они утверждали собственную легитимность. Именно в этой среде я и начал свою деятельность.

Если кто-то из тех, с кем я выпивал, говорил, что пишет или хотел бы писать, я всегда спрашивал, о чем он или она хотели бы писать. На этот вопрос они, как правило, не отвечали. Мне это казалось подозрительным. Уже в то время — и особенно впоследствии — меня забавляло, что в литературной среде полно людей, которые могли и хотели бы писать, но которым решительно нечего выставить на продажу. Почему человек хочет писать, если, как он открыто и честно признается, ему нечего сообщить миру? Неужели он не может придумать себе какое-нибудь другое занятие? Что это за мания такая — добиваться чего-то, ничего не делая? У меня все обстояло как раз наоборот. Меня всегда переполняли идеи, но не было потребности обогащать мир своими творениями. И в буквальном смысле тоже. История с Марией не в счет, мне была нужна она сама.

В то время я вел дневник, но не для публикации в будущем, это были крохи, которые я собирал для себя, своего рода погружение в собственное «я».

Я никогда не напишу романа. Не хочу сосредоточивать свое внимание на одной истории. Если я начну разматывать фабулу, она тут же потянет за собой четыре или восемь других. И мне будет трудно навести среди них порядок, разобраться и с множеством

рамочных рассказов, и с бесчисленными вставными историями, и с иерархией рассказчиков, или, как кто-то назвал это, с китайскими ларчиками. Потому что я не могу не думать, не могу перестать вынашивать идеи. Это почти органический процесс, что-то, что приходит и уходит само собой. Я захлебнусь в потоке идей, меня задавит их изобилие. Мой мозг все время кровоточит новыми сюжетами. Может, именно поэтому мне стали нравиться высокие табуреты в барах. Там мне легче освободиться от своих мыслей.

Так возник симбиоз. Я легко придумывал новые идеи и сюжетные повороты. Труднее было бы этого не делать. У тех, кто хотел писать, все было наоборот. Многие из них ждали озарения месяцами, даже годами, тщетно стараясь придумать что-нибудь оригинальное, о чем стоило бы написать. Меня окружали люди с огромной потребностью высказаться, но эта потребность превосходила их творческие возможности, жажда писать была сильнее мысли. Передо мной был практически неограниченный рынок, нуждающийся в моих услугах. Но как организовать подобную куплю-продажу?

Уже в тот день, когда Мария уехала в Стокгольм, я отправился в город со своими заготовками. У меня было записано двадцать афоризмов. Я решил прозондировать почву и опробовать свои методы. Например, продать афоризмы поштучно по пол-литра за штуку. Афоризмы были хорошие, даже очень хорошие, вне всякого сомнения. Итак, я настроился отдать очень изящный афоризм за пол-литра пива и навсегда забыть, что когда-то он принадлежал мне. Вся загвоздка была в том, чтобы найти подходящего покупателя, а это зависело от того, смогу ли я вызвать кого-нибудь на откровенный разговор.

Я не строил далеко идущих планов: последние деньги я истратил на Марию, и у меня не осталось ни кроны на пиво.

В конце дня я встретил на Студентерлюнден одного писателя, который был на пятнадцать лет старше меня. Назовем его Юханнес. Раньше мы с ним часто беседовали, и я знал, что он не сомневается в моей гениальности. Думаю, он уже понял, что беседа со мной может быть полезной литератору. Однажды он спросил, когда я собираюсь дебютировать. Спросил это таким тоном, словно интересовался, когда я намерен расстаться с девственностью. Никогда, сказал я ему, я вообще не собираюсь дебютировать. Это произвело впечатление. Мало кто говорил так в то время.

Теперь я пригласил Юханнеса выпить со мной по кружке пива. Я скрыл, что у меня нет денег, — если мой план сорвется, объявлю об этом, когда нам принесут счет, меня никто никогда не уличал во лжи. Но я был почти уверен, что все обойдется. И решил предложить ему всю партию афоризмов оптом, я не собирался этого делать, но вспомнил, что Мария уехала, и не хотел в этот вечер обречь себя на вынужденную трезвость. Юханнес же за эти двадцать афоризмов мог приобрести целое состояние. Если он сумеет разумно воспользоваться ими и органично вставит их в свой текст, читатели увидят его с новой стороны. Он издал два очень средних романа с промежутком в шесть лет. В середине семидесятых редкий роман содержал хотя бы десяток стоящих афоризмов.

Мы отправились в «Казино». К счастью, там было мало народу, но зато все это были актеры или писатели, разбавленные публикой, мечтающей о театральном или литературном поприще. Мы нашли укромный уголок.

Через некоторое время я прочитал ему по памяти один афоризм. Он спросил, кто его автор. Я прочитал еще один.

— Великолепно! — воскликнул он.

Я продолжал читать.

— Но ведь ты говорил, что не пишешь? — удивился он.

Я покачал головой.

— Я сказал, что никогда не буду дебютировать. — И уточнил, что не собираюсь становиться писателем.

Теперь уже он качал головой. Наверное, в этой среде слова «Я не собираюсь становиться писателем» прозвучали впервые.

Любая среда и субкультура имеет свой набор неперменных условностей. В среде Юханнеса никто не дерзнул бы объявить, что не хочет становиться писателем, хотя случалось, что спустя много лет кто-нибудь признавался, что у него это не получилось. Но так принято не везде. В некоторых частях земного шара в сельской глуши еще сохранились места, где противоположное высказывание прозвучало бы не менее дерзко. Безусловно, еще существуют крестьянские семьи, которые возмутятся, если их сын и наследник в один прекрасный день придет с поля домой и объявит, что хочет стать писателем.

Сегодня большинство школьников не скрывают, что хотят стать знаменитыми. А всего двадцать лет назад подобное желание считалось бы постыдным. Так при жизни одного поколения культурные условности могут быть перевернуты с ног на голову. В пятидесятые-шестидесятые годы ни один школьник не посмел бы безнаказанно заявить, что мечтает о славе. Люди не смели мечтать о большем, чем карьера врача или полицейского. Скажи кто-нибудь,

что хочет стать знаменитым, ему бы пришлось объяснять, в какой области он намерен прославиться, таким образом, само дело ставилось выше известности. Теперь все иначе. Теперь человек сначала решает, что хочет стать знаменитым, а уж каким образом он этого достигнет, не имеет никакого значения. И уже совсем неважно, заслуживает ли этот человек известности или нет. В худшем случае он будет рад, если станет просто мелким засранцем на документальном телевидении, а если и это ему не удастся, он совершит какое-нибудь громкое преступление. Мне ничего такого не угрожало, я как будто предчувствовал, что со временем известность будет считаться вульгарной. А я всегда опасался вульгарности.

— Ты, Петтер, оригинал, — сказал Юханнес.

Я положил перед ним листы с двадцатью афоризмами, и Юханнес погрузился в чтение. Он исходил завистью.

— Это ты сам придумал? — спросил он. — Или, может, откуда-нибудь списал?

Я поежился. Одна мысль выдать за свое написанное кем-то другим была мне так отвратительна, что я с трудом сдержался. Я не выступал даже с тем, что написал сам.

Мои афоризмы его зацепили, это было видно, но мне предстояла сложная шахматная партия. И провести ее следовало безупречно: первый шаг всегда особенно важен. Я отдавал себе полный отчет в том, что начинаю долгий путь и должен выдержать первое испытание, от которого зависит, даст ли мне это средства к существованию. Если я сейчас провалюсь, начать все заново будет трудно.

Я сказал, что на определенных условиях он может получить эти двадцать афоризмов и опубликовать

их под своим именем. От удивления он забыл закрыть рот:

— Что за хреновину ты несешь, Петтер?

Я прочел ему небольшую лекцию. В конце концов он понял, что я и впрямь не хочу быть писателем. Понял, что я болезненно застенчив и мне ненавистна сама мысль о том, чтобы жить как на сцене, в свете софитов, что я лучше всего чувствую себя за кулисами и никогда бы не продал свою анонимность за деньги. Я нашел и другие аргументы в духе времени. Сказал, будто пришел к мысли, что высовываться политически некорректно. Почему бойкая на язык элита должна на голову возвышаться над всеми? Не лучше ли, чтобы все одинаково подчинялись духу коллективной работы на общественных началах? Наплел что-то о пролетариях, низах и, кажется, употребил даже выражения «работяги» и «вкалывать», в то время эти слова считались у нас смачными, по настоящему крепкими. Кроме того, я напомнил ему о безымянных авторах Средневековья.

— До сих пор никто не знает, кто был автором «Прорицания вёльвы» или «Песни о Трюме»²¹, — сказал я. — И, честно говоря, Юханнес, какое все это имеет значение?

Он покачал головой. Юханнес был марксист-ленинец²². Я поспешил прибавить, что выражаю свое личное мнение, касающееся только меня. Сообщил, что прочитал два его романа и, разумеется, понимаю, как важно, чтобы кто-то взял на себя миссию быть рупором народа, но эта карьера не для меня.

²¹ Песни из «Старшей Эдды», собрания древнеисландских мифологических и героических песен.

²² Рабочая коммунистическая партия (марксистов-ленинцев) была создана в 1973 году.

До Юханнеса начало доходить, что еще чуть-чуть — и он выйдет на Студентерлунден счастливым обладателем двадцати афоризмов. Но нам о многом следовало договориться, и я начал с денежного вопроса. Я посетовал, что остался без средств к существованию и вынужден продать свои афоризмы в надежде выручить по пятьдесят крон за каждый, но ему, по дружбе, уступлю все двадцать за восемьсот крон. Сперва я решил, что хватил лишку. Восемьсот крон в те времена были большие деньги, и для студента, и для писателя. Но, похоже, Юханнес отступать не собирался. Все-таки речь шла о двадцати необыкновенно метких изречениях, на то, чтобы их придумать, у меня ушло целое утро. Я сказал, что он, разумеется, может выбрать те, которые ему больше всего по душе, и заплатить поштучно, с другой стороны, жаль их разбивать. Я предпочел бы уступить их все именно ему, мне не хочется отдавать свое авторство разным случайным людям.

— Не беспокойся, — утешил Юханнес. — Я беру все.

Под конец я снова вернул про свое трудное материальное положение, напомнив ему при этом, что мы все еще живем в капиталистическом обществе, где продукт творчества по-прежнему считается товаром. Художники тоже получают деньги за свои картины, сказал я. Холсты меняют владельца, и художник, естественно, теряет право собственности на произведение, которое он продал. Мне кажется, Юханнесу понравилась эта моя аналогия, подтверждавшая, что в совершенной нами сделке нет ничего ненормального.

— Не исключаю, — сказал он, — что я использую часть этого материала уже в том романе, над которым сейчас работаю...

— Все в порядке, — успокоил я. — И ты заработаешь на нем много денег, но это будет заслуженно. Обычно картины при повторной продаже стоят гораздо больше первоначальной цены. Это называется выгодным капиталовложением.

К счастью, он сам заговорил о наиболее щекотливом моменте нашей сделки. Показав на лежащие перед ним записи, он осведомился:

— Но как я могу быть уверен, что ты не проговоришься, кому на самом деле пришли в голову эти сентенции?

Я сказал, что буду только рад, если афоризмы опубликуют, оставив меня в благословенной неизвестности. У меня припасено еще много чего, разные наброски и идеи, и вполне вероятно, что мы поговорим о них как-нибудь в другой раз. Если же я проболтаюсь об афоризмах, которые ему продал, то тем самым лишу себя возможности продать ему что-нибудь еще.

Последнее было очень важно. Требовалось убедить его, что я не собираюсь отдавать свои сюжеты никому, кроме него. Этот пункт был главным условием для создания разветвленной торговой сети с большим количеством клиентов. Каждый должен пребывать в уверенности, что он, или она, мой единственный избранный.

Я верил, что подобная стратегия способна выдержать испытание временем. У писателей не принято хвастаться, что на них работает «негр». Каждому хочется быть оригинальным и внушающим доверие автором.

Можно было не опасаться, что мои клиенты начнут болтать об этом между собой, что сеть порвется, — нить тянулась от меня к каждому отдельному покупателю. А между ними никакой связи не существовало.

Юханнес бросил взгляд по сторонам, потом нагнулся над столом и прошептал:

— Двести крон ты получишь наличными. А на остальные шестьсот я выпишу тебе чек. Согласен?

Я кивнул, радуясь, что получу хоть немного наличных, и не только из-за того, что должен был заплатить за свое пиво. Я сидел и думал, что банки уже закрыты, а вечер еще только начался. Изящным движением балетного танцовщика Юханнес достал две сотни и чековую книжку. Он выписывал чек так медленно и сосредоточенно, как будто заполнял налоговую декларацию, потом подвинул мне чек и деньги, а я сложил страницы и подвинул их Юханнесу. Он опять огляделся по сторонам, но так и не заметил маленького человечка с бамбуковой тростью, который в ту минуту чуть не угодил под ноги официанту.

Юханнес поспешно убрал сложенные страницы в карман пиджака.

— Ну что, пошли? — спросил он.

Но я сказал, что хочу выпить еще пива.

— Спасибо тебе, Петтер, — произнес он перед самым уходом.

Потом поднялся и направился к выходу. Заверачивая за угол по пути в гардероб, он прижал руку к груди, очевидно проверяя, действительно ли у него в кармане лежат страницы с золотой каемкой. Я подумал, что мне следует сделать фотокопию чека, прежде чем предъявлять его в банк. Сам не знаю откуда, но у меня появилось чувство, что полезно сохранять некоторые сувениры.

Юханнес совершил хорошую сделку. Он заработал вдвое больше на этих афоризмах. Но так бывает со всеми ценными бумагами — никто не знает, сколько

они будут стоять в будущем. К тому же я нуждался в деньгах именно сейчас. Мария сидела в поезде, идущем в Стокгольм.

Вскоре после того Юханнес умер. Его запомнили благодаря точным, почти лапидарным афоризмам.

Я уже решил не снабжать одного и того же писателя сюжетами в разных жанрах. Пусть не думают, будто где-то в городе бьет неиссякаемый источник вдохновения. Племенной бык был всего один, что не мешало ему осеменить целое стадо писак.

Поэтому, если не считать единственного исключения, я снабжал Юханнеса исключительно разными сентенциями, крылатыми фразами, рассуждениями или «перчиком», как он однажды это назвал. Помня, что он один из руководителей первомайского шествия марксистов-ленинцев, я в течение года сбывл ему также несколько звучных лозунгов и девизов, но за них денег с него не взял.

Единственное исключение составил сюжет рассказа о Вьетнаме. Он уместился на одной странице, которую я продал ему за сто крон.

В маленькой деревушке в дельте Меконга в начале пятидесятих годов с промежутком в несколько минут родились два однояйцовых близнеца. Мать мальчиков была изнасилована и убита французским солдатом, когда детям не было еще и полугода, близнецов усыновили две разные семьи, и они выросли, не зная друг друга. Один из них присоединился к Фронту национального освобождения, другой вступил в правительственную армию, поддерживавшую США. После главного наступления братья столкнулись друг с другом в джунглях. Оба вели разведку перед большим сражением, но пока что лицом

к лицу стояли только эти двое. Они были так похожи, что каждый понял: перед ним его брат-близнец. Теперь одному из них предстояло умереть. Но оба солдата одинаково быстро схватились за ножи — недаром они были близнецами, — и им удалось смертельно ранить друг друга.

Несколько полезных подсказок. Помедли, описывая выбор, перед которым оказались братья, логику войны. Тот, кто не убьет своего брата, рискует сам быть убитым. Успеют ли братья перед смертью что-то сказать друг другу? Узнают ли они друг друга? (Вставить в этом месте маленький диалог?) Не забудь описать поле боя, этих умирающих близнецов, которые когда-то мирно покоились в лоне матери, а потом, лежа в ее объятиях, сосали каждый свою грудь. И вот теперь они убили друг друга. Круг замкнулся. Когда-то они родились в один и тот же час, а теперь кровь братьев смешалась в одной луже. Кто их найдет? Какую реакцию вызовет эта находка?

Юханнес написал даже не рассказ, а целую повесть. Когда я прочитал ее в одном литературном журнале год спустя, мне показалась, что она здорово сработана, сильное впечатление произвело на меня детальное знание оружия и быта вьетнамской деревни. И тем не менее Юханнес меня огорчил.

У него история, естественно, кончалась тем, что близнец, воевавший за армию освобождения, не мог заставить себя убить своего брата, хоть тот и позволил сделать из себя лакея американского империализма. И потому был сам зверски убит.

В повести без конца мелькали слова «хитрый» и «героически храбрый», но эти эпитеты относились

к обоим братьям. Юханнес подчеркивал тот факт, что близнецы были однойцовые. Но лишь для того, чтобы показать, как мало наследственность влияет на развитие человека.

Не скажу, что меня шокировал такой поворот, ничего удивительного в нем не было. Многие произведения семидесятых годов были написаны с этих позиций. Задача литературы заключалась не в том, чтобы поставять проблемы для обсуждения. Ей следовало быть назидательной.

* * *

За несколько лет я укрепил свое положение на родной почве, хотя приобрел также не один контакт и в других скандинавских странах. Завоевание зарубежных рынков требовало времени, это был следующий этап.

Мой главный принцип состоял в том, чтобы не продавать один и тот же сюжет больше одного раза. Это могло выйти наружу. Красиво бы я выглядел, если бы в один год вышли два криминальных романа двух разных писателей, построенных на одинаковом сюжете! Иногда такая мысль приходила мне в голову, она меня привлекала, мне было бы интересно хоть раз увидеть, как два писателя могут развить одну и ту же тему.

Кроме того, я должен был помнить, какие истории рассказывал в веселых компаниях. Я не мог рисковать тем, что какой-нибудь критик напишет: роман года построен на бродячем сюжете, который уже давно передается из уст в уста и который он не так давно слышал за бокалом вина в погребке Тострупа. Мне нельзя было смешивать истории, которые я мог свободно рассказывать где хочу, и сюжеты, предназначенные на продажу. Приходилось сдерживать свои,

так сказать, вербальные проявления. Жить с подобным ограничением было непросто, это был вызов. Я все время пребывал в напряжении, стараясь придумать что-нибудь новое.

Однако с самого начала мне все-таки пришлось смириться с одним весьма значительным исключением из этого правила. Я рассказал Марии столько хороших историй, что просто не мог от них отказаться. Если Мария читала норвежские романы восьмидесятых-девяностых годов, она наверняка порой смеялась в душе. Может быть, даже мечтала вернуться в те времена, когда лежала у меня на руке, слушая мои рассказы. Были на моей совести или, если угодно, в списке моих подвигов — это как посмотреть — и сюжеты нескольких сценариев. Мне нравилось думать, что Мария увидит в кино красивую экранизацию одной из многих историй, которые я сочинял для нее после акта любви. Потребности в другом признании моего авторства я не испытывал.

Таким образом, только Мария с самого начала могла указать на меня как на Паука. Я никогда не рассказывал о ней никому из писателей, да и ей о них тоже, хотя по-настоящему развернулся уже после ее отъезда. Но в ее молчании я был уверен, она тоже воспользовалась моими услугами. Ее Золотко было зачато от Святого Духа. Она тоже не хотела бы, чтобы эта история вышла наружу. Может, она боялась огласки не меньше, чем Юханнес опасался слухов, что двадцать афоризмов, которыми он приправил свой роман, принесший ему известность, сочинены мною. С этой точки зрения Мария и Юханнес были в одинаковом положении, но и только.

Проданная вещь отчуждается. Это очевидно. Мысль о том, что когда-нибудь моя фантазия

иссякнет, меня не беспокоила, это была единственная тема, которая не могла родиться в моей голове. В детстве я часто оставался один, с восемнадцати лет у меня была своя квартира, я тренировал свой мозг еще с детского сада.

Однако я озаботился тем, чтобы сохранить фотокопии всех проданных мною записей. Они хранились в отдельной папке с надписью: ПРОДАНО. На каждом наброске сверху было написано, кому и за сколько я его продал. Вначале это был мой единственный метод страховки, но потом я понял, что в один прекрасный день мне придется выставить защиту против возможного давления извне. Тогда я еще не прятал диктофон во внутренний карман перед разговором с писателями и не фиксировал на пленке свои телефонные разговоры с ними. Я хранил фотокопии всех чеков, которыми они со мной расплачивались. С самого первого дня. Ну и раз уж я заговорил об этом, они и сейчас хранятся в моем банковском сейфе вместе с магнитофонными записями.

Мой промысел набрал силу как раз в то время, когда появились копировальные машины. Некоторое время я был зависим от ксероксов в университете и в университетской библиотеке, но вскоре приобрел собственный «Рэнк Ксерокс». Когда же в восьмидесятых годах на рынке появились персональные компьютеры, вести дела стало гораздо легче, а когда моя деятельность распространилась и на границу, я стал брать с собой в поездки мощный ноутбук.

Мне пришлось значительно расширить свой круг знакомых. Иногда это было для меня испытанием, но не очень тяжким. По натуре я был человек общительный, меня любили, и я редко сам оплачивал свою долю ресторанных счетов. Даже не понимаю,

почему так получалось, но, когда делили счет, всегда кто-нибудь платил за меня, это выходило как-то само собой.

Меня называли генератором идей. Если б они только знали! Но всем была видна лишь верхушка айсберга. Как бы я сумел сбывать свой товар, если бы мои клиенты догадались, что я плету паутину, которая в один прекрасный день станет такой большой и непрочной, что множество нитей в ней лопнет и она в конце концов порвется?

Случалось, что в кафе я оказывался в компании сразу нескольких моих клиентов, но каждый считал себя единственным, во всяком случае в первые годы. Они верили в мою моногамность, этот аспект моего редкого ремесла казался мне особенно занимательным. Никто из клиентов даже не подозревал, что на самом деле я распутник. Моя полигамность позволяла мне наслаждаться ласками многих женщин. Я знал их, они знали меня, но не подозревали о существовании друг друга.

Бывало, что из компании человек в шесть или восемь, сидевших за столиком, трое в свое время покупали у меня один-два сюжета. Но каждый считал, что находится на особом положении, это помогало им сохранять уважение друг к другу. Ради чего они, собственно, и жили. Уважение к себе многие из них уже давно потеряли. В то время недостаток самоуважения был еще столь необычным, что бросался в глаза, сегодня на это уже никто не обращает внимания. Духовное состояние, определяемое словами «уважение к себе», теперь почти не встречается. Во всяком случае, как добродетель оно окончательно вышло из моды. Разумеется, никто из них не трубил на каждом углу, что в следующем месяце

у него выйдет роман, основанный на сюжете, который куплен у меня. Другое дело, что нередко в их поведении сквозила некоторая нервозность, вызванная страхом, как бы я, забывшись, не объявил во всеуслышание, что расхваленный критикой криминальный роман Верит написан на основе сюжета, изложенного на шести страничках, которые я продал ей за четыре тысячи крон. Я узнавал эту нервозность в натужном смехе или в склонности к слишком частым отступлениям.

Когда мы в Театральном кафе праздновали получение Карин престижной премии за ее последний роман, бедняжка весь вечер не спускала с меня глаз. Ей было явно не по себе. Я же чувствовал себя прекрасно. Присуждая ей премию, жюри особо отметило изящную композицию романа. Я считал, что все в порядке. Карин не разочаровала меня. Она умело распорядилась тем, что я ей доверил, не зарыла свой талант в землю.

В таких компаниях я пользовался неограниченной властью, и мне это нравилось. Я не видел преступления в том, что чувствую себя всевластным. Властью не обязательно злоупотреблять, я сам был тому хорошим примером. Я щедро делился ею. Фантазии у меня всегда было в избытке, настолько, что я, не скупясь, делил ее могущество с другими. Конечно, это было смело и дерзко, но прежде всего — щедро. Для средств массовой информации властью обладала Верит, я же в глазах журналистов был никем. Если бы мне понадобилось место под солнцем, то уязвимым стал бы уже я. Но меня никогда не прельщало признание общественности.

Мне было интересно наблюдать, что писатель способен извлечь из моей истории, и все. У меня было

свое предназначение, и я ему следовал. Ну и еще мне нужно было на что-то жить, я тоже имел право на кусок пирога, на долю прибыли от деятельности, которая все больше и больше зависела от моих усилий.

Если результат был терпимым, у меня появлялось приятное чувство, будто я держу на поводке собственную свору писак. Просвещенный монарх, обладавший абсолютной властью. Я был приличным шахматистом, но еще лучше я играл живыми фигурами. Мне нравилось дергать за веревочки и наблюдать, как кривляются гордые авторы. Было приятно видеть, как они кружатся в танце.

Хотя мое ремесло и не числилось в профессиональных регистрах, я решил, что оно заслуживает какого-нибудь названия. На большой папке с копиями сюжетов, которые уже нашли покупателя, я однажды вывел: «Помощь писателям». Это было смелое название.

Успех моего дела зависел от доверительных, с глазу на глаз, встреч с писателями в моей квартире или где-нибудь в городе. Мне приходилось работать одновременно с несколькими лучшими друзьями, а это требовало известной ловкости. В результате я получал много приглашений на вечера и уик-энды, даже слишком много.

Наладив связь, я уже больше не навязывал клиентам свой товар. Как только у них возникала нужда в новом материале, они сами приходили ко мне, «доброму дядюшке». И попадали в еще большую зависимость от моих поставок. Некоторые вовсе переставали думать сами, поняв, что в любое время я могу снабдить их забавными находками из своего калейдоскопа. У них как будто выдувало мозги, они жаловались, что чувствуют себя опустошенными.

Их зависимость от меня не доставляла мне радости, но я на это жил. Я жил благодаря тому, что рыба попадалась на мой крючок. Я не продавал гашиша или ЛСД, дешевых контрабандных сигарет или алкоголя. Я торговал фантазией, безобидной фантазией. Но она была ключом к известности, ключом к чему-то такому сложному, как постмодернистская идентичность.

Если я встречал нуждающегося во мне клиента в большом обществе, он иногда отводил меня в угол в прихожую, а бывало, и в туалет. Нервно оглядывался по сторонам и шепотом излагал мне свою просьбу: «Не найдется ли у тебя чего-нибудь для меня, Петтер?» Или: «У тебя есть что-нибудь сегодня?» Или даже так: «Как думаешь, могу ли я получить у тебя что-нибудь за тысячу крон?»

Я мог предложить что угодно, любого жанра и на любые деньги. Простая идея, дающая толчок мысли, стоила, разумеется, гораздо дешевле, чем, например, фабула романа, не говоря уже о детально разработанном сценарии. Я продавал незаконченные стихотворения и части новелл — разделив новеллу на три куса, я продавал их трем разным писателям. Я делал это не для того, чтобы побольше заработать, а только ради забавы.

Иногда я сочинял сюжет, имея в виду определенного покупателя. Одну из таких скроенных на заказ историй я продал за изрядную сумму молодому человеку, которого встретил в «Клубе 7» несколько лет тому назад и который уже достиг известного успеха благодаря полученным от меня заготовкам. Как и во многих других, в нем угадывалось что-то от хиппи — интереса «Битлз» к мистике Востока, кроме того, он был антропософом. Мне понравилось, что он

к тому же разбирается в философском материализме, начиная от Демокрита, Эпикура и Лукреция и кончая Гоббсом, Ламетри, Гольбахом и Бюхнером. Он признался, что сейчас ему совершенно не о чем писать, но он использует этот вынужденный простой для изучения Бхагавадгиты в поисках возможного моста между материалистическим и спиритуалистическим мировоззрениями. Сюжет, который я разработал специально для него, вращался вокруг этих вопросов, я дал ему рабочее название «Константа души». Привожу вкратце эту историю.

Спиритуалисты оказались правы, и, если на то пошло, материалисты тоже. И дуалисты разного толка, и верящие в реинкарнацию тоже имеют все основания пропустить по рюмочке.

Когда численность населения Земли приблизилась к двенадцати миллиардам душ, в маленьком боливийском горном селении на берегу большого озера Титикака родился необычный ребенок. Его звали Пабло, он был необыкновенно красив, а в остальном ничем не отличался от всех детей. Он громко плакал, как большинство младенцев, и обладал всеми способностями и инстинктами. Когда он подрос, окружающим стало ясно, что у мальчика отсутствуют все духовные качества. Он стал предметом многочисленных неврологических исследований, и все они подтвердили: у Пабло нет никаких органических поражений мозга, нарушения чувственного восприятия у него тоже не наблюдалось, а читать и считать он научился намного раньше всех своих сверстников. Однако души у него не было. Пабло был пустым футляром, оболочкой без плода, шкатулкой без драгоценностей. Он не обладал тем, что называют «многогранными

развитыми духовными способностями», — это понятие вообще имеет идеологическую окраску, поскольку предполагает, что духовные способности могут «развиваться», подобно физическим или любым механическим процессам. Бичом Пабло было то, что он вообще не обладал никакими духовными качествами, в результате чего мальчик рос как некое человекообразное животное, лишенное совести и способности заботиться о ближних. Его не интересовало даже собственное благополучие, он жил от мгновения к мгновению, как запрограммированный робот.

Уже с полутора лет Пабло, к отчаянию его родителей, приходилось держать на привязи. Деревенский священник, однако, настоял, чтобы Пабло разрешили посещать школу вместе с другими детьми. Поэтому с шести лет его возили на занятия и обратно на грузовике, а в классе ремнями привязывали к тяжелому столу, надежно закрепленному на цементном полу. Вреда ему от этого не было никакого, потому что он не ведал ни стыда, ни презрения к себе. А вот способность Пабло к учению пугала учителей, у него была завидная память, и один из педагогов вскоре заговорил о том, что Пабло — вундеркинд. Правда, с годами было установлено, что души у него нет. Это был его единственный недостаток.

Через несколько секунд после появления Пабло на свет точно такой же ребенок родился в многолюдном Лондоне, это была девочка, которую называли Линда, она тоже отличалась необыкновенной красотой. С минутными промежутками бездушные дети родились также один в городке Бонпард на левом берегу Рейна, другой — в Лилонге, столице африканского государства Малави, двенадцать — в Китае, два — в Японии, восемь — в Индии

и четверо — в Бангладеш. В каждом случае проходило несколько лет, прежде чем удавалось распознать этот необычный душевный синдром. Как правило, использовали термин «поражение мозга», но его решительно оспаривали некоторые специалисты, поскольку сии «бездушные дети», как правило, обладали умом, превосходившим обычные мерки.

Только когда Пабло исполнилось двадцать и он совершил уже несколько изнасилований и убийств, включая жестокое убийство топором собственной матери, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором говорилось о двух тысячах случаев того, что теперь получило предварительное название LSD, или The Lack of Soul Disease (синдром отсутствия души). Самым поразительным в этом докладе было категорическое утверждение, что дети с синдромом LSD всегда рождаются один за другим с очень короткими промежутками. Около половины из более двух тысяч известных случаев пришлось на одни сутки, и только через четыре года родилось еще шестьсот детей с LSD, и тоже в течение нескольких часов, а потом до следующей волны, насчитывавшей четыре тысячи больных детей, прошло целых восемь лет. Если время рождения этих детей еще подчинялось некой закономерности, то в географии их появления на свет никакой закономерности не наблюдалось. Линда родилась в Лондоне через несколько секунд после того, как Пабло родился в Боливии, но больше случаев рождения детей с LSD в Боливии или в Лондоне зарегистрировано не было. Это исключало какую-либо возможность заражения, генетические причины также не могли приниматься во внимание. Некоторые астрологи тут же стали толковать рождение детей с LSD как

неоспоримое доказательство влияния звезд, но вскоре оказалось, что это было поспешное и легкомысленное заключение.

Группа индийских исследователей с помощью ультрасовременных методов демографии пришла к выводу, что дети с LSD рождаются вскоре после того, как население земного шара превышает определенный уровень. После опустошительных эпидемий, крупных природных катаклизмов или войн, унесших множество жизней, всегда проходило некоторое время, прежде чем на свет появлялись дети с LSD, так что индийские ученые были безапелляционны в своих выводах: в мировом пространстве имеется определенное число душ, и, судя по всему, оно не превышает двенадцати миллиардов. Всякий раз, когда население земного шара переваливает за эту цифру, происходит новый бум рождаемости детей с LSD и держится, пока численность людей на Земле не уменьшится снова до двенадцати миллиардов.

Эти новые сведения подействовали на Старый Свет как электрический шок и, конечно, привели к радикальной смене курса на разных фронтах. К чести Католической церкви надо сказать, что она почти сразу же пересмотрела отношение к некоторым вопросам, издавна вызывавшим споры, например к запрету на противозачаточные средства. Папа и его курия вскоре возглавили растущее международное движение, которое иногда заявляло о своих целях простым лозунгом: «*Make love, not worms!*»²³ Кроме того, Церковь категорически отказывалась

²³ «Творите любовь, а не уродов!» (англ.). Аллюзия на лозунг хиппи: *Make love, not war!* — «Творите любовь, а не войну»!

крестить детей с LSD. Это считалось почти таким же богохульством, как крестить собаку.

Правосудию тоже пришлось искать новые пути. В некоторых странах преступники с LSD несли за свои действия такую же ответственность, как и все прочие правонарушители, но большинство государств в конце концов признали, что эти люди ответственны за причиненное ими зло не больше, чем наводнения или извержения вулканов. Кроме того, шли горячие споры, имеет ли общество — или отдельный человек — моральное право казнить ребенка с LSD, когда тому будет поставлен точный диагноз. К сожалению, определить наличие у плода LSD при взятии на анализ околоплодных вод никак не удавалось. Таким образом, отсутствие духовных способностей обуславливалось не генами.

В течение нескольких лет самых старших детей с LSD собрали вместе, чтобы посмотреть, как они реагируют друг на друга, и среди них были первые — боливиец Пабло и англичанка Линда. Как только их познакомили, освободив от ремней, они бросились друг к другу и стали совокупляться с такой страстью и яростью, что по сравнению с этим наставления Камасутры стали похожи на уроки воскресной школы. Не имея души, Пабло и Линда не могли воспылать друг к другу нежными чувствами, но они обладали всеми половыми инстинктами. У них не было никаких сдерживающих центров, и они не знали, что такое стыдливость, ибо что, кроме души, могло бы смирять возжелание или управлять им?

Соитие Линды и Пабло закончилось беременностью и рождением ребенка, и самым поразительным было то, что Линда родила самую обыкновенную нормальную девочку, обладающую душой.

Многих удивило, каким образом свободная душа могла вселиться в ребенка, происходившего от двух бездушных родителей? Этого никто не ждал. Полноценный нормальный ребенок мог появиться только в том случае, если одна из двенадцати миллиардов душ поселялась в плоде. Космический баланс нарушался, когда в некий короткий период предложение душ, если можно так выразиться, уступало спросу на них.

Дочь Пабло и Линды называли Картезианой в память французского философа Рене Декарта и еще потому, что она раз и навсегда продемонстрировала миру, что душа не плотский феномен. Душа, конечно, не передается по наследству. Передаются только наши физические свойства. Половину наших генов мы получаем от матери и половину — от отца, но наследственный материал целиком и полностью связан с человеком как биологическим существом или с человеком как машиной. Мы не наследуем полдуши от отца и полдуши от матери. Душа не делится на части, равно как и две души не могут соединиться в одну. Душа — неделимая единица, другими словами, монада.

Уже не в первый раз проводились параллели между теориями западных философов, таких как Декарт и Лейбниц, и учениями индийских школ, вроде строго дуалистической философии санкхья. И Платон, и ряд индийских мыслителей два с половиной тысячелетия назад говорили, что душа инкарнируется и реинкарнируется в бесконечное количество человеческих тел. Когда все души Вселенной одновременно находятся в плотском мире, инкарнации приостанавливаются до того времени, когда людей умрет больше, чем будет зачато.

Картезиана, этот маленький солнечный лучик, тут же была окружена заботой опекунской службы, ибо были опасения, что биологические родители не справятся со своими родительскими обязанностями. Ни мать, ни отец, которым разрешили остаться вместе, даже не заметили ее отсутствия. Многие разделяли предвзятое мнение, что если и другим людям с LSD разрешат иметь детей, это будет противоречить и здравому смыслу, и морали. Поэтому с одобрения Церкви большинство из них были стерилизованы. С тех пор люди на Земле стали с большим уважением относиться друг к другу, как к существам, наделенным душой. Не так-то легко бранить или проклинать душу, которая, возможно, встретится тебе через сто или через сто миллионов лет.

По завершении последней вспышки LSD население Земли не превышало двенадцати миллиардов человек, однако далеко не все одинаково приветствовали такое развитие событий. Некоторые считали, что несколько тысяч детей с LSD было бы целесообразно содержать в больших лагерях или на плантациях в качестве доноров, поставляющих органы для пересадки. Другие предлагали держать некоторых афродит и адонисов в официальных борделях к радости всех, кто живет в невольном celibate.

И всего несколько процентов считало, что количество жителей земного шара должно опять перевалить за двенадцать миллиардов.

Чтобы привлечь новых клиентов, мне приходилось предлагать им подобные плоды мысли, за такие пустяки я денег не брал. Даже в лавках колониальных товаров считалось обычным делом даром предлагать покупателям на пробу возбуждающие аппетит

продукты. Я возвращал себе свое, когда клиент потом подходил ко мне и просил детально разработанный сюжет.

Какую-нибудь голую идею для книги, набросанную на клочке бумаги или салфетке, я отдавал признанному или начинающему литератору за сумму, достаточную, чтобы доехать домой на такси. Такси до Тонсенхагена стоило мне однажды фразы, записанной на обратной стороне ресторанный счета: «Детская книга (примерно сто страниц), которая состоит только из вопросов, иерархически выстроенных по темам и подтемам». И все. Но этого хватило, чтобы загорелся заведомо лишенный фантазии человек. Случайный клиент считал, что я подал ему гениальную мысль. Я уточнил, что он должен написать не обычную книгу вопросов. Главное в том, чтобы дети могли самостоятельно додуматься до ответов.

— На такую книгу ты должен потратить не меньше года, — сказал я, садясь в такси. — Это мое неперемennое условие. — Я знал, что он человек основательный, даже тугодум.

Иногда случалось, что я соединял несколько лакомых набросков, пролежавших у меня много лет, в большие сюрпризы. Например, одну коллекцию я назвал «Двадцать шесть аллегорий от А до Я». За этот материал я выручил десять тысяч крон. Мне не казалось, что я запросил слишком много за целую пачку записей, которых, вообще-то, иному писателю могло хватить на всю жизнь.

С тех времен, когда я постоянно должен был останавливать голоса, звучащие в голове, у меня сохранились пятьдесят два диалога. За этот пакет, достаточный, чтобы оставить потомкам обширное творческое наследие, я получил пятнадцать тысяч

крон. И не считал это слишком высокой ценой. Два диалога уже поставлены в радиотеатре, один был недавно разыгран как одноактная пьеса на Национальной сцене в Бергене, три диалога я видел в печати. Конечно, их немного переработали и развили, иначе и быть не могло. Один из них представлял собой длинный разговор, почти подведение жизненных итогов между двумя сиамскими близнецами с особым акцентом на местоимения «я» и «мы». Эти сиамские близнецы, сестры, представляли собой медицинскую сенсацию, ибо прожили неразделенными больше шестидесяти лет, однако с годами у них сформировалось почти противоположное отношение к жизни. Работая над этим диалогом, я подумывал, не наградить ли одну из сестер синдромом LSD, чтобы их было проще различать, но весь смысл заключался в том, что единая плоть имела две разные души — Диззи и Лиззи, две отдельные души, обречены были жить в одном теле. Они могли время от времени громко и горячо ссориться, часто подолгу дулись друг на друга, и тогда они плохо спали по ночам, но сестры никогда не причиняли друг другу физического вреда.

Если бы я верил, что у какого-нибудь писателя достанет выдержки несколько лет писать монументальный роман, этак семь или восемь тысяч страниц, то уступил бы ему подробно расписанный сюжет на тридцати страницах. Одну из таких заготовок я продал за двадцать тысяч крон уже известному автору. Свой сюжет я назвал «Маленькое человечество». Вот вкратце некоторые его моменты.

После того как страшный амазонский вирус, которым люди, вероятно, заразились от игрунковых

обезьян, за нескольких месяцев буквально выкосил все население Земли, человечество насчитывает всего *триста тридцать девять человек*. Люди поддерживают контакт с помощью Интернета.

Все обращаются друг к другу на «ты» и по имени. Колония из восьмидесяти пяти человек живет на Тибете, двадцать восемь человек — на маленьком островке Сейшельского архипелага, пятьдесят два — на севере Аляски, сто двадцать восемь — на Шпицбергене, одиннадцать — там, где раньше был Мадрид, семья из шести человек — в Лондоне, тринадцать — в чилийском шахтерском поселке Чуквикамама, и шестнадцать — в Париже.

Таким образом, большинство выживших обитает в более или менее отдаленных районах вроде Тибета, Аляски, Шпицбергена и маленького островка в Индийском океане, и, конечно, потому, что они никогда не были в контакте с зараженными. С другой стороны, если горстки выживших сохранились в Мадриде, Лондоне и Париже, то это, скорее всего, объясняется тем, что в их организмах имелись активные антитела. Возможно, вирус пощадил еще несколько общин, которые пока не смогли известить мировое сообщество о своем существовании, а также одного-двух изолированных индивидов (которые, может быть, объявятся до конца романа). Выжившие называют вирус, унесший жизни почти всего человечества, «Местью Амазонки», связывая пандемию с бессмысленной вырубкой человеком дождевых лесов. Теперь опасность угрожает самому человеку как биологическому виду.

Профессиональные и интеллектуальные ресурсы выживших весьма ограничены. В мире осталось всего восемь врачей, из которых один — невропатолог,

один — кардиолог и один — гинеколог. В Париже живет восьмидесятипятилетняя женщина, которая до пандемии была всемирно известным микробиологом. Теперь она не только единственный известный, но и вообще единственный микробиолог. На Аляске живет профессор астрономии, а на Шпицбергене — один гляциолог, три геолога и один выдающийся палеонтолог.

После тридцатилетнего карантина, во время которого между колониями не было никакого физического контакта, эксперты решили, что земной шар вновь может быть открыт для миграции. Еще два или три поколения на Аляске, Шпицбергене и Тибете изоляцию переживут, но, чтобы избежать негативных последствий родственных браков, более мелкие колонии должны поторопиться и смешать свою кровь с людьми, живущими за пределами их резерваций. Среди двадцати восьми выживших на Сейшелах двадцать семь женщин и только один мальчик одиннадцати лет, но зато из женщин двадцать две готовы к размножению. С одиннадцатилетним мальчиком обращаются как с принцем, он уже стал у женщин предметом особого культа. Из Лондона сообщают об отчаявшемся отце, который был вынужден совокупиться с собственной дочерью, пытаясь помешать вымиранию их колонии.

Большая часть мировых автомобильных дорог еще сохранилась, как и несколько сотен миллионов автомобилей, среди которых многие пока способны ездить. На аэродромах мира стоят тысячи самолетов, готовых взлететь. В распоряжении маленького человечества имеются к тому же неограниченные запасы бензина, но только один выживший авиамеханик, который живет на Тибете, и два

пилота, один — на Аляске и другой — в Лонгшире на Шпицбергене. Снимки со спутников показывают, что некоторые города полностью сгорели, но большинство стоят, как стояли тридцать лет назад, когда все жители вымерли. Домашние животные в основном вымерли, но не полностью. Между тем состояние окружающей среды быстро улучшается. Озоновый слой почти восстановился, и погода на планете стала более стабильной, чем была несколько десятков лет назад.

Вот с таким сценарием ты начинаешь работать. Как происходит вторая колонизация планеты человеком? Что случается в первые годы заселения? С какими трудностями встречается каждый человек? Короче, что чувствует человек, принадлежащий к маленькому человечеству? Не несет ли это ему некоторого облегчения?

Ты должен сам выбрать, о чем хочешь рассказать, возможностей у тебя тьма, ограничить их может только твоя фантазия. Хорошо бы сразу дать имена и характеристики почти всем из трехсот тридцати девяти человек, переживших пандемию, хотя ты и не сможешь рассказать обо всех. Твоим материалом является судьба всех этих людей.

Как воспринимает отдельный человек пандемию, унесшую почти все население земного шара? Кого из близких потерял тот или другой из выживших? Не забудь описать самые драматические и трогательные эпизоды. Помни все время, что многие из выживших должны смотреть правде в глаза: они тоже могут оказаться жертвами пандемии.

Как ведет себя человек в подобных условиях? Что переживают женщины, вынужденные рожать

*от своих братьев, чтобы не допустить исчезновения своего рода? Что чувствует отец, вынужденный со-
вокупляться со своей дочерью? Что чувствует дочь?*

Довольно трудно будет придумать, каким образом люди поддерживают связь друг с другом через все континенты. Задержись на первом контакте. Это прорыв, которого добились, например, люди, живущие на Аляске, и тибетская колония. Какими средствами связи они пользуются? Какие энергоносители есть в каждой колонии? Посоветуйся непременно с опытными инженерами и компьютерщиками.

Можешь выбрать небольшое число главных героев, вокруг которых будет разворачиваться действие романа. Или можешь предпочесть эпизодическое повествование с большим количеством персонажей. Нет надобности затягивать рассказ, вводя в роман все триста тридцать девять человек, достаточно только наделить их характерными чертами, это придаст повествованию монументальность.

Вопросов множество, отвечать на них должен ты — автор и Бог романа. Расскажи все истории, но помни: они все должны подчиняться главной драматургии, главному направлению и мотору этого большого произведения. Пусть читатели закончат чтение романа со слезами на глазах, жалея о разлуке с персонажами, с которыми сжились за эти несколько недель или месяцев и к которым искренне привязались.

Возможно, эта тема заставит тебя выйти за рамки одного тома. Не поддайся искушению писать как можно короче. Только тебе одному известна вторая большая глава в истории человечества.

Не теряй из виду ту почти неизъяснимую радость, что будет связана с рождением каждого нового ребенка. Когда ты окончишь свой рассказ, в романе

сменится несколько поколений и население планеты, возможно, увеличится в несколько раз.

А может, ты позволишь человечеству исчезнуть окончательно? Ты имеешь на это право. О чём будет думать последний живущий на Земле человек? Он или она совершенно один во всем космосе...

И наконец, последний хороший совет: не пиши ничего, пока не прочтешь исландские родовые саги. И помни поговорку: «Дорога открывается по мере пути».

Удачи тебе!

Я быстро догадывался, что нужно каждому, то есть за что он — или она — не пожалеет денег, но мне нужно было понять, какие из моих сюжетов тот или иной писатель способен развить. Прежде всего я должен был позаботиться о том, чтобы не метать бисер перед свиньями. Если никудышному сочинителю доверить сложный сюжет, штучный, как «роллс-ройс», он просто его угробит. К тому же быстро запахнет жареным. Еще продавая домашние задания своим одноклассникам, я твердо усвоил, что нельзя делать на «отлично» работу для посредственных учеников. Вопрос был не только в том, сколько кто сможет заплатить, — нужно было соизмерять качество продаваемого материала с мастерством писателя, которому я его продаю. «Помощь писателям» была сложным делом.

В некоторых случаях я отдавал ценные записи не за деньги, а в обмен на другие виды компенсации. Приглянувшаяся мне писательница могла получить помощь только за минуту наслаждения. По-моему, я поступал великодушно, позволяя женщине тешить себя иллюзией, что она ничего у меня не покупала,

ведь денег-то она мне не платила. Если хочешь, возьми этот сюжет, говорил я, бери, если он тебе нравится, но останься еще на часок.

Женщины более склонны обмениваться дарами и услугами, чем покупать и продавать. Получив готовый сюжет для пьесы или романа, они становились особенно податливыми. Тут уже не играло никакой роли, замужем они или связаны с кем-то другими узами, перспектива известности и власти во все времена легко склоняла слабый пол к любви.

Но и в таких случаях деликатность была негласным условием сделки. Женщины обладали импонирующей мне способностью скрывать, что используют секс в качестве товара. Это не я продавал им что-то, скорее, наоборот, это они продавали себя мне.

Я перестал приглашать девушек с улицы — эту стадию я уже перерос. Но мне было приятно предаваться любви, не чувствуя себя обязанным примешивать сюда чувства. Я не одухотворял эти свидания.

* * *

Важным сегментом моего рынка были писатели, которые издали роман или сборник новелл лет шесть-восемь назад и с тех пор не давали о себе знать. Озлобленные на весь свет, они продолжали вращаться в литературной среде, и хотя кое у кого на лицах было написано отчаяние, получив нежданно-негаданно продуманный сюжет романа, они быстро оттаивали и, как правило, были готовы выложить за него большие деньги. В редких случаях я давал им пять-шесть страниц уже готового текста только затем, чтобы подтолкнуть застопорившуюся мысль.

Другую группу составляли литераторы, которые виртуозно владели пером, однако пребывали

в унынии, потому что писать им было не о чем. Я больше всего любил работать именно с ними. Порой требовалась самая малость, чтобы сдвинуть их с места, но я всегда соблюдал осторожность. Разумно ли отдать пачку записей, блистающих затейливой сюжетной канвой и богатой фантазией, человеку, который известен мрачными образами своих героев и ничем больше? Но с другой стороны, стоило подсказать ему тему для рассказа или интригу, как он завоевывал новые высоты. Совершал «прорыв» в творчестве. Мне нравилось это слово. Есть в нем какая-то свобода — что-то сдвинулось с места и, прорвав все преграды, вырвалось на простор. Часто для это требуется лишь горстка сухого пороха.

Я был расположен к представителям этой группы еще и потому, что из моих предложений они делали хороший товар. Они не спешили, не разбазаривали понапрасну того, над чем им выпало работать. Крупными писателями они, может быть, и не становились, но были добросовестными ремесленниками и владели искусством письма. Для них «Помощь писателям» подходила как нельзя лучше, здесь можно было говорить о подлинном симбиозе. Нельзя забывать и того, что эти писатели обладали способностью, которая полностью отсутствовала у меня: они со спокойной душой работали год, два и три над одним романом и делали это с величайшим удовольствием. Эстеты до кончиков ногтей, они вышивали словесные узоры, подробно описывая характеры и задерживаясь на чувствах своих героев. Многие из этих хитроумных узоров представлялись мне довольно искусственными и кустарными, чтобы не сказать надуманными и топорными. В отличие от таких кривляющихся сенсуалистов, я довольствовался работой

над сюжетами, и они отнюдь не были топорными, кустарными конструкциями, но напоминали стайку птиц, которую я выпускал из рук и принимал обратно с неподдельным восторгом.

Именно в напряжении, рожденном борьбой спонтанного и искусственного, и состоял симбиоз между писателями и мною. Сначала сюжеты рождались у меня в голове совершенно естественным образом, например во время прогулок, а потом уже люди, владеющие искусством письма, по-своему их раскрашивали. Это они делали куда более умело, чем я.

Требования одного автора были ограничены, но писателей-то было много, я работал одновременно со всеми, и все они работали на меня. Мне нравилось думать, что после меня останется не так уж много историй, которые стоило бы рассказать людям. Я выпустил все ракеты за один раз. После меня наступит тишина. Думать и размышлять будет уже не над чем. Я управлял огромной машиной, был организатором самого грандиозного в мире литературного фестиваля, причем втайне от всех.

Третья группа моих покупателей состояла из тех, кто еще ничего не издал, но тем не менее не сомневался, что рожден быть писателем, — эти еще не озлобились. Озлобление приходило потом, когда они понимали, что заплатили слишком большую цену за солидный набросок к роману, которого написать не в силах. Таким образом моя невидимая рука развеяла не один самообман. Это я также считал важной миссией: вернуть к действительности бежавшего от нее человека — тоже доброе дело. «Помощь писателям» служила не только катализатором творческого самутверждения. Я не раз утирал и слезы. Тут мне весьмагодились мои психологические способности.

Я всегда считал себя опытным психологом. Самое главное — это знание важнейших свойств человеческой души, и мне казалось, что я в избытке запасаю этим знанием, не только посещая кино и театр в юном возрасте. Я многое узнал о жизни людей, болтаясь по городу и заглядывая в окна жилых домов. Не одного дома, не двух, но нескольких тысяч домов. Не у каждого был такой богатый жизненный опыт.

Кроме того, психолог должен уметь утешать, с годами я научился и этому. Утешение не исчерпывается одними словами, на свой лад оно сродни фантазии. Когда Кальверо утешает Терри в начале фильма «Огни рампы», он исходит из собственного опыта, рассматриваемого в разной перспективе и под разными углами зрения. Кальверо — алкоголик и клоун-неудачник, в данном случае очень удачная комбинация. Как правило, намного легче утешать другого, если сам пережил глубокое отчаяние.

Терри лежит на постели Кальверо, ее длинные черные волосы разметались по белому постельному белью. Врач ушел, и она приходит в себя после попытки самоубийства.

К а л ь в е р о (*повернувшись к ней*). Болит голова?

Т е р р и. Где я?

К а л ь в е р о. В моей комнате. Я живу двумя этажами выше вас.

Т е р р и. Что случилось?

К а л ь в е р о. Я пришел вечером домой, а из вашей комнаты пахло газом, Я взломал дверь, вызвал доктора, и мы вместе перенесли вас сюда.

Т е р р и. Почему вы не дали мне умереть?

К а л ь в е р о. Куда спешить? Вам больно? (*Терри отрицательно мотает головой.*) Только жизнь

и важна. А все остальное — выдумки. Миллиарды лет понадобились на то, чтобы развилось человеческое сознание, и вы хотите его уничтожить? А как быть с чудом жизни? Самым важным, что есть во Вселенной. Что могут звезды? Ничего, только вращаться вокруг своей оси. А Солнце — этот сгусток плазмы в ста сорока миллионах километров от нас — что может оно? Тратит понапрасну естественные ресурсы. А может ли оно думать? Есть ли у него рассудок? Нет, а вот у вас есть. (*Терри снова заснула и громко храпит.*) Простите, виноват.

Дальше в фильме Кальверо еще много раз пытается пробудить волю к жизни в этой несчастной танцовщице, которая по-прежнему лежит в постели с парализованными ногами, он говорит: «Послушайте, в детстве я пожаловался отцу, что у меня нет игрушек. И он сказал (Кальверо показывает на свою голову): „Вот самая лучшая из всех когда-либо созданных игрушек. В ней заключен секрет счастья!“»

Потенциальные дебютанты часто возлагали несбыточные надежды на мою помощь, мечтая о писательской карьере. Получив интересный сюжет, они считали, что дальше все пойдет само собой. Естественно, чуда не происходило. Одной хорошей идеи еще недостаточно, как и подробного, крепко сколоченного сюжета. Может быть, подробности тут как раз и лишнее, может быть, сюжет не должен быть слишком крепко сколочен. Главное, чтобы писатель был способен довести роман до конца, обладал собственным голосом, владел элементарными стилистическими навыками. И все-таки в основном ему мешает не это. Если он не умеет писать после двенадцати лет обучения в школе, ему никогда не поздно

поступить на специальные курсы. Есть множество семинаров, где людей учат писать, это большой рынок. А вот о чем писать, знает далеко не всякий. И нет таких школ, где бы этому учили. Нет таких курсов, на которых преподают, о чем стоит писать. Но тут на сцену выступаю я, это моя ниша.

Многие писатели *in spe*²⁴ оказывались в затруднительном положении, не имея такого основополагающего фундамента, как жизненный опыт. Думать, что сначала можно писать, а жить — потом, заблуждение, присущее постмодернистам. Но многие молодые хотят стать писателями прежде всего потому, что им хочется жить, как живут писатели. Тут все перевернуто вверх ногами. Сначала человек должен пожить, а уж потом может задуматься, есть ли у него что рассказать людям, но это решает жизнь. Творчество является плодом жизни, а не жизнь плодом творчества.

Чтобы рационализировать свою «Помощь писателям», я разработал «Десять советов тому, кто хочет стать писателем». Я не школьный учитель. И считаю ниже своего достоинства постоянно повторять одно и то же. Уж лучше сунуть стандартное руководство тем клиентам, которые явно в нем нуждаются. Это тоже входило в наш акт доверия. Я объяснял клиенту, что десять советов адресованы только ему и что он — или она — не должны размахивать этим сугубо личным посланием в университете или на улице Карла Юхана. Письмо не называлось «Десять советов тому, кто хочет стать писателем», а начиналось словами: «Дорогой Андерс» или «Дорогая Анне-Лиза».

Принимая на себя ответственность и духовное руководство даже над теми, кто не имел никаких

²⁴ В надежде, надеющийся (лат.).

шансов стать в будущем писателем, я должен был тем не менее соблюдать известную осторожность. У многих молодых людей следовало письмо изъять. По этой причине я разработал «Десять советов тому, кто предпочел не становиться писателем». Сей выбор тоже заслуживал уважения. Я и сам его сделал. Первый пункт начинался так: «На земном шаре можно жить полноценной жизнью и не будучи писателем. Ты не первый, кто должен найти себе какую-нибудь другую профессию».

Я никогда не пытался втереться в доверие к крупным писателям. Если им не о чем писать, они делают что-нибудь другое, может быть, колют дрова. Крупный писатель никогда не ищет, о чем ему писать, он пишет тогда, когда должен. Я отнюдь не крупный писатель. Я постоянно вынужден напрягать мысли и потому обречен смириться с некой формой духовного недержания, но я никогда не испытывал потребности написать роман. И, если на то пошло, никогда не колол дров.

Когда мне предстояло завербовать нового покупателя, я всегда действовал с большой осторожностью. Я не должен был заходить далеко и с ходу выкладывать, что намерен продать ему литературную идею, следовало оставить пути к отступлению и забрать свой товар обратно раньше, чем другая сторона сообразит, что речь идет о купле-продаже. Я мог, как кошка, мгновенно вильнуть в сторону и представить все таким образом, будто только интересовался мнением собеседника о том, над чем в настоящее время работаю. Спроси я у него: «Купишь это?», мне было бы уже не вывернуться, а так я только спрашивал, нравится ли ему то, что я дал прочитать. Не один раз мне приходилось сидеть

и выслушивать комментарии «опытного» литератора. Это было унижительно.

Я умел ходить вокруг да около. Это искусство я довел до совершенства еще в то время, когда знакомился с девушками и приглашал их в театр или в кино. Ходить кругом да около — в некотором роде театральный этюд, а еще это можно сравнить с хождением по канату без страховочной сетки. Падать порой было высоковато, зато это давало великолепную возможность для тренировки творческих способностей.

Редко, но все-таки случалось, что от моих услуг отказывались уже после того, как они были представлены надлежащим образом. Одни удивленно поднимали брови, другие отрицательно качали головой, третьи бурно протестовали. Они отказывались не потому, что им не нравилось предложенное, скорее, напротив, думаю, это им как раз очень нравилось. Они понимали ценность того, что легко могло оказаться в их распоряжении. Я видел, как они боролись с искушением. Секунду или две это доставляло мне удовольствие. Но в будущем такие неподкупные авторы могли оказаться серьезной угрозой моему бизнесу. Они оставались непорочны и ничего не потеряли бы, рассказав братьям по перу о моих предложениях. За некоторыми из них приходилось еще долгое время присматривать — я практиковал и такую форму наблюдения за писателями. Должно быть, именно от них и просочились первые слухи о моей деятельности. По-видимому, эти неподкупные и непорочные и пустили в оборот прозвище Паук. Оно не имело ничего общего со старым куском янтаря, который мы с отцом видели в Геологическом музее. Уже второй раз в жизни я получал это прозвище. Наверное, у меня и в самом деле есть что-то общее с пауком.

Он тянет свою паутину из себя. Или, как пишет Ингер Хагеруп:

*Чудно родиться пауком.
Чудно весь век ходить с клубком,
Для мошек сеть сплетая.
Но как он может поместить
В своем брюшке паучьем нить
Длиною до Китая?*²⁵

Не все писатели так поступают. Некоторые подобны муравьям: берут что-то отсюда, что-то оттуда и потом все это, хитро перемешанное, уже считают своим. Критики склонны думать, что почти все писатели относятся к этой категории. Указывая на какое-нибудь произведение, они охотно заявляют, что оно «носит черты» того-то и того-то, «позаимствовано» оттуда-то или «находится в долгу» перед известными авторами и течениями, современными или принадлежащими истории, даже в том случае, если писатель и близко не подходил к названным ими книгам. Критики принимают как данность, что все писатели или столь же эрудированны, или столь же лишены фантазии, как они сами. Похоже, они считают аксиомой, что в творческом сознании больше не возникает оригинальных импульсов, даже в маленьких странах, особенно в нашей. Но есть еще третья группа — начинающие. Сочинители, прибегающие к услугам «Помощи писателям», роятся как пчелы. Они слетаются в розовый сад Паука и сосут нектар, обеспечивая себя сырьем. Однако большинство все-таки дает себе труд переработать взятки.

²⁵ Перевод Ю. Вронского.

Переваривая розовый нектар, они превращают его в собственный мед.

Некоторые известные уже писатели не могли смириться с мыслью, что я вращаюсь в их среде и, возможно, даю дельные советы их коллегам. Таких я называл пуританами. Я встречал авторов, которые негодовали, что какому-то их коллеге для вдохновения нужно выпить бутылку вина, а другому покурить опиума или даже съездить за границу. Самым страшным многие из них считают, что писатели *in spe* записываются на литературные курсы. Большинство пишущей братии не кричит на каждом углу, что почерпнуло вдохновение на стороне.

В благоприятные для литературы времена служители этого искусства не жалеют духовных сил, чтобы показать, что другие не доросли до их уровня. В конце семидесятых в писательских конюшнях многих издательств стало весьма тесно, а когда в конюшнях становится тесно, животные начинают кусать друг друга. Если крестьяне производят слишком много масла или зерна, они уничтожают излишки. Если писатели производят слишком много текстов, они уничтожают друг друга.

Конечно, не все мною проданное превратилось в книги, но я принимаю на себя часть ответственности за ту литературную инфляцию, свидетелями которой мы стали в последней четверти прошлого столетия. Говорили, что было издано слишком много книг. И тогда к нам пригласили одного датского критика. Датчанин прочитал все сборники стихов, выпущенные в те годы, и нашел, что ни один из них не дотягивает до приличного уровня. Но проблема не всегда заключалась в том, что издатели выпускали слишком много плохих книг, порой она

сводилась к тому, что написано слишком много хороших. Мы принадлежим к поколению пустословов. Мы производим больше культурных ценностей, чем можем переварить.

В последние годы мы почти педантично боремся с граффити на станциях подземки и одновременно тратим миллионы крон на строительство новой национальной библиотеки. Но граффити коснулось также и нашей национальной памяти. Ницше сравнивает человека, объевшегося плодами культуры, со змеей, которая проглотила зайца и дремлет на солнце, не в силах пошевелиться.

Время эпиграмм прошло. В Бергене при раскопках на ганзейской набережной нашли палочку с такой надписью, сделанной рунами: «Ингебьёрг любила меня, когда я был в Ставангере». Спустя восемь или десять столетий эта надпись должна произвести впечатление на писателя, а также и на читателя. Нынче этот лаконичный писатель эксплуатировал бы память о прошлом, сочинив роман на четыреста страниц о своем несчастном любовном свидании с Ингебьёрг. Или насиловал бы слух современников навязчивым хитом вроде: «Все видели только Ингебьёрг, только Ингебьёрг, только Ингебьёрг...» Парадокс заключается в том, что если бы за все эти восемь веков было написано столько же романов, сколько в семидесятые годы, никто из нас не смог бы проникнуть сквозь толщу этой письменной традиции к той простой, но забавной истории об Ингебьёрг: Ингебьёрг-любила-меня-когда-я-был-в-Ставангере. Эта любовная драма пробирает до костей, но и дает повод для ассоциаций. Кое-что читатель должен домыслить сам. Его творческой мысли дана пища. Автор не замахивается на четыре сотни страниц.

Писать книги стало слишком легко, и компьютеры отнюдь не затруднили этот процесс. Авторы, писавшие по старинке, от руки, или стучавшие на пишущей машинке, считали, что книги, созданные на компьютере, — примитивная литература второго сорта, уж слишком легок процесс их написания. Машина стала угрозой искусству письма, в ней таится злой демон, называемый электронной обработкой текста. Он сродни дьявольскому духу, который появился еще в эпоху Ренессанса, когда считалось, что культуре письма угрожает печатный станок. Печатные книги читало все больше и больше людей, и на это нельзя было закрывать глаза. Но долгое время печатную книгу не признавали настоящей, считая ее суррогатом.

Конечно, некоторые писатели не сумели использовать материал, который я им продал. И это значительно затрудняло мою работу. Им нужно было кого-то винить в своих неудачах, и они наконец нашли козла отпущения.

Не только дебютанты исходили желчью, если у них не получались книги по моим сюжетам. Особенно злились те, кто раньше печатался без моей помощи. Многие произведения не принимали издательства, а на них я поначалу не имел никакого влияния. Процент возврата был довольно высок, однако многие проекты срывались, еще не дойдя до издательства. Некоторые клиенты даже приходили ко мне, чтобы аннулировать нашу сделку. Это было не только ребячество, это просто противоречило нашим устным договоренностям, но мне ничем не грозило. Конечно, я терял часть заработка, потому что не мог снова продать возвращенные мне записи кому-нибудь другому, но выбора у меня не было. Разумеется, мои клиенты

получали назад свои деньги. Мое материальное положение было уже достаточно прочным, и я должен был мыслить стратегически. Должен был заботиться о репутации своего предприятия.

В интересах дела я не позволял клиентам копаться в моем товаре, прежде чем они его купят. Я не мог поставить условием, что возврат возможен только в течение десяти дней. Если я позволял клиенту прочитывать первую страницу сюжета, переговоры должны были закончиться покупкой, или мне пришлось бы уже навсегда изъять сюжет из продажи. И тут снова было полезно ходить кругом да около, мне это особенно нравилось. Я в совершенстве довел искусство так спрашивать девушку, согласится ли она переспать со мной, чтобы она не была уверена, о том ли я ее спрашиваю, но все-таки заверяла меня, что заглянет вечером и скажет «да», в противном случае я сам прерывал этот предварительный этап переговоров.

Только закрепив свои позиции за границей, я мог позволить себе продать немецкому или французскому писателю сюжет, который много лет назад безуспешно предлагал норвежскому. Из-за этого вспыхнуло несколько мелких пожаров, которые мне пришлось тушить, но на это я был мастер. Тушить пожар — это все равно что утешать кого-то.

* * *

В начале восьмидесятых годов я понял, что нельзя ограничиваться одноразовым гонораром за сюжет, из которого теоретически мог выйти бестселлер. Это был важный момент в моей деятельности. Я стал претендовать на часть роялти, например, после того, как будет продано пять или десять тысяч экземпляров

книги. Я брал от десяти до тридцати процентов с роялти писателя, учитывая, насколько разработан сюжет и насколько велика вероятность того, что после обработки он станет бестселлером. Этот поворот обещал мне значительный материальный прогресс, он должен был сделать меня богатым человеком. Но оказался небезопасным.

Когда я договаривался о роялти, у меня в кармане всегда лежал диктофон. Мне казалось, что так будет надежнее. Устный договор, безусловно, обязывает точно так же, как письменный, но нерушимость устных договоров требует, чтобы у обеих сторон была хорошая память. В этом отношении диктофон незаменим, и бывали случаи, когда мне приходилось напомнить о нем своему клиенту. Несколько раз я даже вынужден был убеждать клиентов, что мне причитается определенная сумма, показав им, что уже многие годы мой телефонный аппарат соединен с магнитофоном. У меня во всем был порядок, кое-кто, пожалуй, назвал бы меня педантом.

Как-то ко мне пришел один из озлобленных, назовем его Робертом. Он был на десять лет старше меня, наполовину фламандец, и до сих пор жизнь его не баловала. И с творчеством не ладилось, и сын страдал от последствий небольшой мозговой травмы. Отношения его с сожительницей Венке тоже нельзя было назвать простыми: Венке вступила в связь с другим писателем. Венке и Роберт продолжали жить вместе из-за больного сына, но их сожительство напоминало картинку в старинном стереоскопе: мужа нет, когда приходит жена, и жены нет, когда приходит муж. Не знаю, как Роберту, а мне было известно о связи Венке с Юханнесом. В нашей среде ничего не скроешь.

Роберт был одним из тех моих подопечных, которые ждали, что я возьму на себя ответственность за все стороны их жизни. К тому же он связывал свое значение с литературными заслугами. За несколько месяцев до этого мы с ним сидели в «Казино», и почти весь вечер он плакался, что его отношения с Венке как зеркало отражают литературные победы и поражения. Если его книга имела успех, все было хорошо и в семейной жизни, но коль скоро она встречала плохой прием у критики, Венке сейчас же отлучала его от супружеских радостей. Я утешил беднягу тем, что это трудности Венке, а не его.

Мне не понравилось, что он пришел без звонка, хотя я и просил его этого не делать. Я всегда убирал свои папки и бумаги, прежде чем позволить кому-либо перешагнуть мой порог, у меня бывал иногда страшный беспорядок. Но Роберт был вне себя от возбуждения, и потому я впустил его в квартиру.

— Что случилось, Роберт? — спросил я у него еще в передней. — У тебя опять застопорилось?

Он сразу перешел к делу.

— Я подозреваю, что ты помогаешь не только мне! — выпалил он.

У меня не было оснований отпираться.

— О'кей, — сказал я, — предположим, ко мне приходят многие. И что с того? Или ты недоволен тем, что получал от меня?

Я вспомнил притчу Иисуса о рабочих в винограднике. Роберт был одним из первых, кому я в свое время протянул руку помощи, и мы с ним заключили долгосрочный договор. Его не касалось, как я договаривался с другими работниками в винограднике.

Я усадил его в кресло и принес две бутылки пива. Потом подошел к проигрывателю.

— Шопен или Брамс? — спросил я.

Он не ответил, тяжело вздохнул несколько раз и сказал:

— Ты говорил, что кроме меня у тебя никого нет.

Я сделал вид, что задумался.

— Неужели я действительно так сказал?

Его широкие плечи дрогнули. Наконец он прошептал:

— Я думал, что ты работаешь только со мной, Петтер.

— Послушай, — сказал я. — Наверное, ты имеешь в виду какое-нибудь мое высказывание десяти- или двенадцатилетней давности. Не отрицаю, тогда все было иначе.

— Но я считал, что так и останется — только ты и я.

Мне уже порядком надоело его нытье. Он поздно хватился и стал жаловаться, что в самой большой литературной пирамиде нашего времени слишком много участников, ведь он сам в течение многих лет был зависим от милостивых даров Паука. Но за добро всегда платят неблагодарностью. Стоило профессору Хиггинсу научить уличную цветочницу правильно говорить по-английски, как она тут же стала претендовать на роль его единственной избранницы.

— А тебе было бы приятно знать, что с моей руки кормится добрая половина наших писателей? Ты перестал бы тогда со мной сотрудничать?

Он кивнул.

— Но ты был доволен тем, как критика оценила твой последний роман. И Венке тоже, — напомнил я ему. — Ты получил от меня сюжет на восьми страницах, и, между прочим, за смешные деньги. Вообще-то, я согласен с тем критиком, который написал, что

твой язык страдает небрежностью. Попросил бы меня прочесть рукопись, ты знаешь, за это я много не беру.

Он весь напрягся.

— Кому ты еще помогал? — спросил он.

Я приложил палец к губам.

— Ты с ума сошел?

Он подозрительно посмотрел на меня. Очевидно, думал, что между нами по-прежнему существуют доверительные отношения.

— А тебе понравилось бы, если бы я рассказал Верит и Юханнесу о наших отношениях?

— Ты помогаешь Юханнесу?

— Успокойся, Роберт. По-моему, ты переутомился. Расскажи о себе. Как тебе живется?

— Скверно, — сказал он.

Выглядел он неважно. Бросалось в глаза, что за последний год он сильно поседел. Вообще, он относился к тем людям, которые долго сохраняют пышную шевелюру, но вдруг начал лысеть.

— Ты говорил кому-нибудь обо мне? — спросил он.

— Конечно нет, — ответил я, и это была чистая правда. — Мне можно доверять. Я работаю на двусторонней основе. Об этом можешь не беспокоиться, во всяком случае до тех пор, пока сам будешь вести себя прилично.

Через несколько недель он снова пришел ко мне, и опять без звонка. Я разозлился. Терпеть вторжение писателей в мою личную жизнь? Ну уж нет! Звук шагов на лестнице вызывал у меня отвращение еще с тех пор, когда мальчишки приходили звать меня на улицу играть в ковбоев или индейцев. Может, у меня гости, может, я занят приятным разговором с какой-нибудь

жрицей изящной словесности. Или сижу, погруженный в раздумья. Кроме того, перед любым посещением я должен был затолкать Метра в спальню. Как ни странно, он покорно с этим мирился.

Мне стало ясно, что кто-то кому-то открылся. Скорее всего, они говорили о том, что я развернул широкую консультативную деятельность. Не сомневаюсь, что некоторые решительно отрицали, что значатся в списке моих клиентов. Я всегда умел угадывать правильно, предчувствие сродни сочинению правдоподобных историй.

В первый раз мне пришло в голову, что в один прекрасный день кто-нибудь захочет со мной по квитаться. Я уже чувствовал определенное давление и потому счел необходимым сообщить Роберту, что записывал на диктофон наши с ним разговоры. Как и то, что, получая от него чеки, каждый раз для порядка делал с них фотокопии. Я рассказал ему, что принял меры, благодаря которым мой банковский сейф откроется сразу же, как только со мной что-то случится. Я предположил, что это немного его отрезвит. Уж очень он был разгневан и раздражен, этот Роберт, высоченный, между прочим, мужик, по меньшей мере на целую голову выше меня. Я не раз убеждался, что иногда он становится неуправляемым. Впрочем, гнев у него быстро сменялся смирением и апатией, и это его выручало. Тяжело жить, опасаясь, что кто-то может воспользоваться твоим безвыходным положением. Когда человека загоняют в угол, он только усугубляет безысходность, цепляясь за несбыточные надежды, будто какое-нибудь чудо все изменит к лучшему, в таких случаях апатия бывает самым удобным душевным состоянием. Я дружески и с пониманием отнесся к нему — это тоже входило в мою систему

обращения с писателями. Сказал, что от меня никто никогда не узнает о наших с ним сделках. Угостил его виски и спросил, как у него обстоят дела с Венке.

Прошло несколько лет, прежде чем я вновь увидел Роберта. Вид у него был болезненный, и он пожаловался, что переживает творческий кризис. На этот раз ему хотелось бы написать криминальный роман, сказал он, и я позволил ему выбрать один из двух сюжетов. Это было великодушно с моей стороны. Роберт знал, что сюжет, который он видел, но не купил, тут же обесценится и будет переложен из папки, где лежали истории на продажу, в папку для тех, которыми можно безбоязненно развлекать компанию. Я не мог совсем отказаться от удовольствия занимать друзей своими рассказами, необходимость иметь в запасе новые истории не позволяла мне расслабиться.

Сюжет, который он купил у меня, назывался «Тройное убийство postmortem²⁶» и, возможно, отчасти был вдохновлен песней Битлз «Lucy in the Sky with Diamonds». Он занимал пятнадцать страниц, вот вкратце его содержание.

Во фламандском городе Антверпен жили три брата: Вим, Кеес и Клас. У Вима на лице было большое родимое пятно, и он с самого детства терпел издевательства и насмешки братьев. Ему шел двадцатый год, когда он встретил избранницу своего сердца, Люси, очень красивую девушку, но Кеес сумел отбить у брата Люси всего за несколько недель до назначенной свадьбы. Отношения между братьями не улучшились и после того, как один за другим умерли их родители. Они оставили подробное завещание,

²⁶ После смерти (лат.).

в котором Вим был обойден. Тут не обошлось без старших братьев. Особые старания приложил Клас, помогавший родителям составлять завещание, ведь он был адвокатом, и еще долгие годы после смерти стариков он хвастался всему Антверпену, как ловко обвел их вокруг пальца.

Однако Вим сумел выбиться в люди, торгуя бриллиантами, и с годами сколотил солидное состояние. Больше всего его огорчало, что он так и не обзавелся семьей. Других женщин, кроме Люси, в жизни Вима не было, поэтому он не имел и наследников. Единственным утешением и радостью ему служило то, что Люси изредка заходила к нему ради старой дружбы. Со временем она стала обращаться к Виму за советом — делить хлеб и постель с Кеесом было не так-то легко.

Если бы младший брат умер раньше старших, Кеес и Клас, к их стыду, унаследовали бы часть его состояния, и когда Вим в относительно молодом возрасте заболел неизлечимой болезнью, он написал завещание, в котором была выражена его последняя воля: Кеес и Клас непременно должны вместе открыть его сейф. По Антверпену ходили слухи, что в этом сейфе хранятся бриллианты стоимостью в несколько миллионов бельгийских франков.

Вим умер спустя пару месяцев после того, как в присутствии свидетелей подписал свое завещание. Кеес и Клас явились вместе, чтобы открыть его сейф, с ними пришел также один известный адвокат. Когда они трясущимися от жадности руками открыли заветный сейф, сработало мощное взрывное устройство, и все трое погибли на месте. В сейфе не было ни одного бриллианта, а также ни векселей, ни денег. Кеес и Клас получили от брата

в наследство только бомбу, но зато в ней было много тысяч карат и смастерили ее на совесть.

Сей гротескный эпизод газеты вскоре окрестили «Тройным убийством *post mortem*», и он имел целый ряд юридических последствий. По завещанию Вим оставлял все свои ценности, кроме того, что лежало в сейфе, Люси, вдове Кееса. Но у суда не было уверенности, что она не являлась сообщницей убийцы. То, что она все эти годы иногда заходила к Виму в контору, ни для кого не составляло секрета, в последний год она бывала у него особенно часто, чего и не думала скрывать. Может быть, она имела доступ и к сейфу. Кроме того, суду было заявлено, что Люси недавно обращалась к адвокату по бракоразводным делам, которому сказала, что намерена развестись с Кеесом, ибо их брак оказался неудачным и к тому же бездетным.

Для защиты интересов покойного торговца бриллиантами был назначен адвокат. Ведь никто не верил, что Люси одна сумела подложить бомбу в сейф после смерти Вима. К тому же куда делись все бриллианты? Можно ли было обвинять успешного торговца бриллиантами в тройном убийстве, прежде чем суд не скажет своего слова?

Обвинения Люси никто никогда не предъявлял, но, опираясь на представленные доказательства, суд запретил называть покойного торговца бриллиантами убийцей или тройным убийцей. Или, как выразился судья, «невиновен, пока не доказано обратное!». И наконец он объявил решение суда: о мертвых следует говорить хорошо или ничего.

Из-за всех этих судебных разбирательств, газетных статей, а также, возможно, из-за потери мужа Люси решила уехать из Антверпена. За несколько

дней до того, как она улетела в Буэнос-Айрес, чтобы поселиться вместе с живущей там кузиной, ей исполнилось тридцать лет, и в день ее рождения к ней явился хорошо одетый господин. Он вручил ей свою визитную карточку и сообщил, что представляет большую посредническую фирму. В руке он держал маленький чемоданчик, который его работодатель просил доставить на дом Люси ван дер Хейден и передать ей лично, но непременно в этот день. Люси расписалась в квитанции и, только когда посланец ушел, открыла чемоданчик. Он был полон бриллиантов. К ним была приложена написанная от руки записка следующего содержания: «Дорогая Люси! Поздравляю тебя с тридцатилетием и желаю тебе счастья. Живи за нас обоих. Твой Вим».

* * *

Моя сеть начала менять характер. В ней появились нити, связывающие моих клиентов между собой. Постепенно эти нити стягивались вокруг меня, опасность нарастала. В сети обнаружилось четыре слабых места, представленных четырьмя группами писателей.

Первая группа состояла из тех, кто оказался не в состоянии довести свои проекты до конца и, следовательно, мог жаловаться на качество приобретенного товара. Я столкнулся со множеством таких сальто-мортале. Они меня забавляли. Смешно ругать «ягуар», если вообще не умеешь водить машину. Водителю надо пенять на себя, а не на автомобиль.

Вторую группу составляли неподкупные. Эти были особенно непредсказуемы, потому что могли не бояться за себя. Все они были неврастеники, и их особенно волновало, что я помогаю другим писателям,

некоторых мучил почти параноидальный страх перед тем, что такое вообще может происходить. Они пытались поймать рыбку, но им приходилось ловить ее в океане слухов, и все их попытки были тщетны. Неподкупные тоже пребывали в заблуждении, что мои предложения носят эксклюзивный характер, и это настораживало их еще больше: кому же на самом деле я помогаю? Уж не этой ли новой комете, этому нахальному дебютанту, который под носом у всех отхватил премию критиков?

В третью группу входили должники, не всегда расположенные возвращать мне деньги. В нескольких случаях речь шла об очень значительных суммах. Ни покупатель, ни я не были заинтересованы в том, чтобы широкая общественность узнала, что один из бестселлеров этого года написан на основе сюжета, разработанного не самим автором. Никому из нас не хотелось, чтобы я напоминал о магнитофонных записях, но иногда мне все-таки приходилось прибегать к этому эффективному средству. Если вначале можно было сказать, что «Помощь писателям» носит беспорядочный характер, то теперь особую важность приобретал строгий порядок при заключении контрактов.

И наконец, четвертая группа объединяла тех, кто извлек большую пользу из связи с «Помощью писателям», и в художественном отношении, и в материальном, но кому почудилось, что почва заколебалась у них под ногами, когда они поняли, что в сеть попало много добычи. Чем больше пользы им приносили мои услуги, тем значительнее казалась глубина падения и тем больше они начинали опасаться за свою репутацию. Им было стыдно, что они пользовались посторонней помощью, они чувствовали себя опозоренными, оттого что попались на клейкую бумажку.

Это понятно. Но кто же виноват, что они не устояли перед искушением купить мои услуги?

Даже поняв, что я крупный поставщик, отдельные клиенты поддавались соблазну и заключали со мной новые контракты. Они сознавали, что, возможно, находятся на тонущем корабле, но, зараженные вирусом жадности, пренебрегали опасностью. Как и наркоманам, разговоры о том, что расплата неминуема, казались им пустой болтовней. Я спросил у одного из них, не боится ли он, что будет разоблачен после смерти. Но он только покачал головой: какая разница, ведь его уже не будет в живых. Это заявление, показавшееся мне бесстыдным, было типично. Постмодернистская цивилизация не питает почтения к посмертной славе. Жизнь — это парк удовольствий, и мысль многих писателей работает только до закрытия парка.

Другое дело, что эти клиенты могли все-таки меня ненавидеть. Нет никакого противоречия в том, что наркоман ненавидит наркоторговца.

Я сохранял полную невозмутимость, пока однажды не прочел в немецком журнале «Шпигель» весьма хвалебный отзыв о романе про шахматы, который вышел в Германии. Я достал этот роман, проглотил его за один присест и был изрядно шокирован.

В основу романа была положена та самая история, которую я много лет назад на Фрогнерсетеере рассказал Марии незадолго до того, как она от меня забеременела. Автор немецкой версии изменил некоторые детали, дал героям новые имена и перенес действие на немецкую почву, но сюжет был мой, иногда вплоть до мелких подробностей. Написала его некая Вильгельмина Виттманн, ее имя мне ни о чем не говорило, но это мог быть и псевдоним.

Эту шахматную историю я рассказывал только Марии, тут у меня не было никаких сомнений. Если я до сих пор никому ее не продал, то лишь потому, что не нашел никого, кто был бы способен достойно воплотить мой замысел. Оставались только две возможности: Мария рассказала историю о лорде Гамильтоне, какому-то писателю. Или — и с этим мне было еще труднее смириться — за псевдонимом скрывалась она сама. Рассказчик блестяще справился со своей задачей, я был удовлетворен результатом, хотя для меня этот рассказ был неразрывно связан с Шотландским нагорьем.

Эта весточка от Марии изрядно меня взбесила. Сюжет «Тайны шахмат» был лишь одной из многих десятков историй, которыми я одарил Марию, и большинство из них уже давно встали на ноги и ушли в мир в качестве полноценных романов. Неужели Вильгельмина Виттманн на этом не остановится? Вот тогда у «Помощи писателям» возникнут серьезные трудности.

Мария давно продемонстрировала, что обладает великолепной памятью, а теперь она начала еще играть в шахматы.

Письмена на стене

Как раз в тот период я основательно укрепил свои позиции за границей. Это было как нельзя кстати, потому что дома ячея моей сети стала чересчур мелкой. Население Норвегии немногочисленно, зато в ней много писателей. Вскоре я зачастил в Германию, Италию, Францию, Испанию и Англию.

Сначала требовалось устроиться на работу в какое-нибудь издательство, я уже давно понял, что без этого мне не обойтись. Многие редакторы прекрасно понимали, что я могу быть им полезен, даря их авторам некоторые идеи, мой рейтинг у этих писателей был очень высок. Все чаще меня просили выступить консультантом по той или другой книге, теперь уже совершенно открыто. Это была приятная перемена, полезно иметь документы, свидетельствующие, что ты зарабатываешь какие-то деньги. Не без труда, но мне удалось убедить налоговую инспекцию, что хотя бы с части заработанных мною денег действительно уплачены налоги.

Я устроился редактором переводной литературы в одно из крупных издательств. На это место претендовало много народу, но я получил работу, как только заикнулся, что она меня интересует, мне даже

не пришлось посылать им свое резюме. Я пользовался хорошей репутацией, а как же иначе, ведь меня все знали. Я был серый кардинал в литературе.

Никого не удивило, что такой человек, как я, захотел работать в издательстве. Удивительно было другое: как это не пришло мне в голову раньше и как этому не помешало отсутствие у меня, получившего высокий балл на экзамене артиум²⁷, какого-либо формального образования? Я был самоучка и не стыдился, что не имею университетского диплома, я просто перешагнул эту стадию. Есть люди, которые самостоятельно узнают больше, чем могли бы им дать учителя.

Издательству, открывшему мне свои двери, очень повезло. Я пришел, чтобы делать там важную работу, в этом не было никакого сомнения, но только я знал, что под прикрытием работы в издательстве смогу обзавестись полезными связями за границей, знакомствами, которым предстоит сыграть важную роль в расширении «Помощи писателям».

Я проработал в издательстве четыре года и уже в первый год познакомился со многими ведущими сотрудниками больших иностранных издательств, которые имели наиболее широкие представления о литературной жизни в Скандинавии. В мою задачу входило отбирать новые иностранные книги, достойные перевода на норвежский. Это было легко. Агенты знали, с кем следует поддерживать связь, они гонялись за мной по большим залам книжной ярмарки во Франкфурте. Это меня развлекало. Они лезли

²⁷ До 1982 года выпускной экзамен в норвежских гимназиях, дававший право на поступление в любое высшее учебное заведение.

ко мне с поцелуями и совали свои визитные карточки. И понимали, что отвергнутые мною книги имеют мало шансов на издание в Скандинавских странах, я был своего рода пробным шаром. Прежде чем продвигать какую-нибудь книгу на японский или американский рынок, немецкие или итальянские издательства обращались ко мне, чтобы узнать мое мнение об этой книге, и я тут же объяснял им, какие произведения, на мой взгляд, могут рассчитывать на успех в той или иной стране. Я мог назвать фамилию того, с кем им следует связаться, а иногда не отказывался и лично замолвить за них словечко. Кроме того, я умел добиваться выгодных условий при заключении контрактов. Благодаря этому ко мне постоянно обращались за советом даже в тех случаях, когда вопрос формально находился вне моей компетенции. Будучи редактором иностранной литературы, я также выполнял функции рекламного агента и содействовал распространению скандинавской литературы за рубежом. Я никогда не рекомендовал того, в чем не был уверен. Если я сообщал немецкому издателю, что какой-нибудь датский или шведский роман ожидает успех на немецком книжном рынке, издатель знал, что я отвечаю за свои слова. Отвечать за свои слова очень важно, если имеешь дело с людьми. Доверие завоевывается не вдруг, а утрачивается очень легко.

Когда однажды я постучал в двери директорского кабинета и отказался от должности редактора иностранной литературы, поднялся страшный переполох. Но я хотел двигаться дальше. С начала восьмидесятых годов я был кем-то вроде разведчика для большинства крупных издательств в мире. В мою задачу входило отслеживать перспективные новинки скандинавской и немецкоязычной литературы и как

можно скорее предупреждать издательства, с которыми я был связан, о всех книгах, представляющих для них интерес. Это в корне изменило мой статус, вскоре я уже был представителем престижных издательств из многих стран, которые теперь часто посещал.

Во время своих путешествий я продолжал сочинять сюжеты романов и придумывать новые идеи. Когда я был моложе, мне лучше всего думалось во время походов в горы или в поезде, идущем по Хардангервидде. Не хуже получалось у меня и в самолете на высоте сорока тысяч футов, когда я летел в Нью-Йорк, Сан-Паулу, Сидней или Токио. Чтобы родить идею романа, требовалось всего несколько минут, о чем-то ведь я все равно должен был думать, так уж устроен человеческий мозг. Я не мог просто смотреть в проход и гадать, когда стюардесса принесет новую чашку кофе. Моя профессия предполагала длительные перелеты, и мне оставалось только радоваться, что я не предприниматель или, что было бы еще хуже, не сочинитель романов. Записная книжка занимает меньше места, чем рукопись романа или компьютер, она хотя бы не так бросается в глаза. В своих трудах по эстетике Гегель подчеркивал, что чем древнее и богаче тот или иной вид искусства, тем меньше он требует физической массы.

Теперь уже никто не удивлялся моему появлению на книжных ярмарках и литературных фестивалях, в какой бы части света они ни проходили, мне платили за то, чтобы я держал руку на пульсе книжного рынка. Я предпочитал узнавать о стоящих романах еще до того, как их выпускали в свет. Никто не подозревал, что в некоторых случаях я знал о романе

задолго до его написания и даже еще до того, как сам автор понимал, что напишет эту книгу. Для разведчика это выгодная позиция, я был мастер находить и размещать стоящие издания. Говорили, будто я обладаю шестым чувством.

«Помощи писателям» пошло на пользу то, что она перестала зависеть только от скандинавских авторов. Я перевел некоторые из моих лучших сюжетов на английский, немецкий, французский и итальянский. Мне пришлось изрядно потрудиться, но это было преодолимое препятствие. Я всегда любил читать книги на языке оригинала, считая это едва ли не своим долгом. Поэтому уже с начала семидесятых годов моим хобби стало изучение новых языков. Список авторов, которые могли стать клиентами «Помощи писателям», постоянно пополнялся. Потому что американские или бразильские литераторы считали относительно безопасным делом покупать сюжет у норвежца. Я обладал уже солидным состоянием.

Часть моих будней проходила в тесном контакте с агентами, издательствами и писателями, вскоре я стал персоной, с которой многие стремились показаться в общественном месте. Им было не стыдно обедать со мной на книжных ярмарках во Франкфурте, Лондоне, Болонье или Париже, они считали для себя честью, если их видели рядом со мной. Вокруг меня постоянно роились люди, профессия не запрещала уступать личным симпатиям, и я провел много приятных вечеров с женщинами-издательницами. Единственными конкурентами в моей нише были другие разведчики. Нельзя же один и тот же бестселлер выпустить одновременно в издательствах «Сель» и «Галлимар».

Когда этой весной я приехал на международную книжную ярмарку детской и юношеской литературы в Болонью, у меня сразу же появилось чувство, что это посещение может оказаться последним. Уже в первое утро я почувствовал что-то неладное. Я всегда очень быстро улавливал чужие настроения и враждебность по отношению к себе.

Сразу после открытия ярмарки я разговорился с одним французским редактором — недавно книга, написанная по моему сюжету, вышла в его издательстве и имела огромный успех. Автор, с которым я встретился в пабе на литературном фестивале в Эдинбурге несколько лет тому назад, точно следовал моему замыслу, и язык романа был очень изысканным. Я получил солидный аванс, и еще мне полагалось пять процентов от всех роялти с его изданий во Франции и переводов в других странах. Книга получила много призов и уже была переведена на семь или восемь языков. Диктофонная кассета, не оставлявшая вопросов относительно характера наших отношений, надежно хранилась в банковском сейфе вместе с копиями денежных переводов. Кроме того, у меня дома, в Осло, имелось еще одно подтверждение — запись с магнитофона, подключенного к моему телефонному аппарату. Я всегда щедро раздавал писателям номер своего телефона, магнитофон работал бесшумно, и, чтобы избежать недоразумений, в конце разговора я обязательно подводил итог нашим договоренностям.

Очень скоро я убедился, что французский редактор осведомлен об условиях моей сделки с автором премированного романа. Может быть, тот сам

намекнул ему о них? Но для чего? Неужели он совершенно лишен чувства стыда?

Прямо ничего не было сказано, но по тому, как тот редактор со мной разговаривал, я понял: он предполагает, что я не единожды оказывал писателям такие услуги. У него даже хватило наглости спросить, что мне известно о других подобных случаях. Когда я взял свой пластмассовый стаканчик и небрежной походкой направился к немецкому стенду, давая ему понять, что мне неприятно это вынюхивание, он схватил меня за руку и воскликнул:

— Будь осторожнее, Петтер!

Тон был дружеский. Но сомневаюсь, что он питал ко мне теплые чувства. Я истолковал его слова как угрозу. Может быть, он боялся, что слухи дойдут до самого писателя и пострадает репутация его издательства.

Я остановился и перекинулся парой слов с главным редактором одного из крупнейших немецких издательств, который сообщил мне, что в этом году они привезли особенно много хороших книг. Он угостил меня бокалом игристого спуманте, этот человек даже не подозревал, что работа над двумя романами, о которых мы говорили, началась в Осло много-много лет тому назад. Это не имело никакого значения.

Всю первую половину дня я бродил по ярмарке. Я был на работе, и мне всегда нравились эти залы, находиться в них было приятно. Павильоны и залы крупнейших ярмарок Европы стали моими королевскими дворцами, но особенно я любил эту свою весеннюю резиденцию в Болонье. Здесь у меня появлялся аппетит. И здесь было много женщин.

Я любил бродить по залам, переходя от экспозиции к экспозиции, и здороваться с коллегами со всех

сторон света. В Болонью приезжало не так много писателей, но я видел на стендах свои книги. За эти годы при моей помощи был создан не один десяток книг для детей и юношества, но, кроме меня, об этом никто не подозревал. Я любил разговаривать с редакторами о новинках последнего года, которые появились благодаря моей помощи. Я высказывал свое мнение, не сомневаясь, что от меня этого ждут, и, не задумываясь, мог зарубить любой из моих романов, если мне казалось, что он плохо написан. Мог сказать, что писатель загубил собственный замысел, что его можно было воплотить гораздо лучше. Мог поделиться тем, как я понимаю смысл романа. Это бывало забавно. Многие редакторы получали пищу для размышлений, потому что не все они могли так толково и точно изложить интригу произведения, как я. Это доставляло мне удовольствие. Я не всегда успевал перед ярмаркой прочитать все новинки от корки до корки, но в общих чертах мог все-таки пересказать содержание любой книги, к созданию которой приложил руку на ранней стадии. Моя осведомленность производила на издателей сильное впечатление. Иначе и быть не могло.

В том году в Болонье я все-таки почувствовал, что за полгода, прошедшие с Франкфуртской ярмарки, что-то изменилось. До полудня я успел поздороваться, наверное, с сотней знакомых. Хвастать тут нечем, поздороваться на ярмарке с сотней человек в первой половине дня вполне обычно, во всяком случае для меня.

Я все больше и больше убеждался в том, что идут какие-то разговоры. Конечно, это касалось не каждого из моих авторов, но я понимал, что легче собрать всех муравьев леса в одном муравейнике, чем

писателей, с которыми я в течение года вступал в деловые отношения. Но кто-то с кем-то все-таки пооткровенничал. А это могло означать, что время истекло, мое время истекло.

Меня неожиданно окликнула одна дама, агент итальянской фирмы:

— Ты тоже здесь?

Это был дурацкий вопрос по двум причинам: во-первых, она уже видела, что я здесь. И во-вторых, последние десять лет я неизменно посещал ярмарку в Болонье. Немного позже я встретил Кристину, представительницу крупного итальянского издательского концерна, мы были знакомы уже много лет. У Кристины — после Марии — самые красивые в мире глаза и самый сексуальный в мире голос. Увидев меня, она приложила руку ко лбу, словно перед ней среди бела дня возникло привидение.

— Петтер! — воскликнула она. — Ты еще не читал статью в «Коррьере делла сера»?

Больше она ничего не успела сказать, ее увлек за собой какой-то португалец, которому я только кивнул. Он был новичок. И тоже своего рода разведчик. У меня закружилась голова.

Хорошо, подумал я. Мне следует прочитать статью в «Коррьере делла сера». Прятать голову в песок не в моем духе, я уже несколько недель не был нигде южнее Альп и, по-видимому, что-то упустил. Мне не нравилась смена настроения в моей империи, что-то определенно втайне назревало, может быть, приближалась революция, а что делают с императором, когда вспыхивает революция?

На этот день с меня было довольно, хотя я не успел сделать вообще ничего. Направляясь к выходу, я столкнулся с датским писателем, чей роман для

юношества недавно вышел на итальянском. Я считал, что роман написан небрежно, но сюжет производил впечатление, он был построен на записях, которые датчанин купил у меня на литературном фестивале в Торонто. Мне казалось, что я заслужил хотя бы дружеского кивка с его стороны. На книжных ярмарках всегда царит сутолока и неразбериха, но датчанин отвернулся сразу, как только увидел меня, словно был поражен тем, что я еще жив. Наверное, нет ничего странного, что человек не решается смотреть в глаза тому, кого уже не числит в живых. Мне пришло в голову, что, наверное, так же трудно смотреть в глаза старому другу за несколько часов или дней до его кончины, во всяком случае, если сам немало способствовал его предстоящему переходу в мир иной. Воображения мне было не занимать. Я пал духом и уже начал сочинять сюжет романа о собственной смерти.

Я прошел к главному входу и оттуда на такси поехал в отель «Бальони». Я жил на пятом этаже. Войдя в номер и открыв бутылку минеральной воды из мини-бара, я бросился на двухспальную кровать и заснул с бутылкой в руке. Проснувшись после долгого глубокого сна, я на минуту испугался, что напустил в кровать.

Несколько часов спустя я устроился со стаканом пива на пятачке Маджоре. Я был в растерянности. Почти за каждым столиком кафе сидели работники издательств, и с большинством из них я раскланивался. Обычно они дружески кивали мне, но в этот вечер многие даже не ответили на мое приветствие. Я затылком ощущал их пристальные взгляды и чувствовал себя в стане врагов.

Когда у меня бывало подходящее настроение, я именно здесь находил себе подругу на вечер. Кого-нибудь, кого хорошо знал или с кем меня познакомили совсем недавно. С супругами сюда не приезжали, в Болонье были одинаково представлены оба пола, но ни одной супружеской пары. Я всегда заказывал в «Бальони» двойной номер. Многие редакторы и агенты жили гораздо скромнее.

Мой взгляд упал на Кристину, она вместе с Луиджи сидела в соседнем кафе. Луиджи не только сам был преуспевающий издатель, он также приходился сыном легендарному Марио. Однажды в Милане мне посчастливилось — Марио одолжил мне свою ложу в «Ла Скала», где в тот вечер вполне сносно пели «Турандот».

Увидев Луиджи в соседнем кафе, я сразу вспомнил маму. Ей бы понравилось слушать «Турандот» из ложи Марио в «Ла Скала», она бы держалась как королева. Но в тот раз я сидел в ложе один. Если бы мама была жива, наверное, никакой «Помощи писателям» не существовало бы и, скорее всего, я вообще не встретился бы с Марио. Проживи мама немного дольше, все было бы по-другому и я, возможно, даже не встретил бы Марию.

Я снова вспомнил «Тайну шахмат». Минуло уже несколько лет с тех пор, как вышла эта книга. Я тогда же вынул сюжет из папки с набросками, которые предназначались на продажу, и выбросил в корзину. Кто знает, каким будет следующий шаг Марии? Я чувствовал бесконечную усталость.

За соседним столиком говорили на славянском языке, которого я не понимал, но у меня появилось чувство, что речь идет обо мне. За спиной я тоже слышал голоса, и мне казалось, что все посетители

кафе обсуждают только Паука. Я вспомнил сказку Андерсена о курином перышке, которое превратилось в пять куриц. Отвратительная история. Пусть она обойдет всех! Пусть она обойдет всех! Книжная ярмарка всегда гудела от слухов, это было не ново, но теперь эти слухи имели прямое отношение ко мне. Мне стало страшно, сам не знаю почему, но я разнервничался. Может, я все только придумал, и Андерсена, и пристальные взгляды. Тот, у кого начинается мания преследования, не должен слишком долго задерживаться на книжных ярмарках.

Я решил вернуться в отель и лечь, приняв таблетку снотворного, но тут же вспомнил, что мне сегодня сказала Кристина. Я оставил на столе деньги за пиво и прошел между столиками к ней и Луиджи. Они меня не видели. Я похлопал Кристину по плечу и спросил:

— Значит, «Коррьере делла сера»?

Они оба вздрогнули. Наверное, тоже говорили обо мне. Кристина взглянула на часы и пролепетала, что ей пора. Мне показалось странным, что ей понадобилось идти, как только я подошел к ним. Днем она неожиданно завела разговор с португальцем, а теперь предложила мне свой стул, махнула рукой и побежала через площадь к собору. Уходя, она обменялась взглядом с Луиджи. Он как будто сказал ей: «Иди спокойно. Петтера я беру на себя».

Я посмотрел на Луиджи.

— Так что там в этой статье в «Коррьере делла сера»? — спросил я.

Он откинулся на спинку стула, вынул из кармана пиджака пачку сигарилл. Это означало, что разговор займет много времени.

— Ты слышал о Пауке? — спросил он.

— Конечно, — ответил я. — Все я слышал.

— Хорошо. — Он кивнул и сделал глоток пива. Луиджи был немногословен, являя собой само благоразумие.

— «Коррьере делла сера» написала что-то о Пауке? Он снова кивнул.

Думаю, он не заметил, что я вздрогнул. Я пытался взять себя в руки.

— Значит, это впервые попало в печать. А что они пишут?

— Я хорошо знаю автора этой статьи, — сказал Луиджи. — Он пишет и для «Эспрессо». А теперь работает над большой сенсационной статьей.

Я был раздражен. Взмахнув рукой, я сказал:

— Я спросил у тебя, о чем та статья?

Только Луиджи мог улыбнуться в такую минуту.

— Стефано считает, что Паук — норвежец, — сказал он.

— Он называет имя?

Луиджи отрицательно покачал головой. Я перешел на шепот. У меня появилось чувство, что нас слушают тысячи настороженных ушей.

— Может быть, он норвежец, а может, и нет, — прошептал я, и Луиджи отметил, что я говорю шепотом. — Паук всюду, он всюду и нигде. Не думаю, что могу быть чем-нибудь тебе полезен, Луиджи.

— А это, часом, не ты, Петтер? — спросил он.

Я рассмеялся:

— Спасибо за доверие. Могу только повторить, что не в моих силах тебе помочь. Передай мой привет и эти слова своему товарищу.

Он широко раскрыл глаза.

— Ты все переворачиваешь с ног на голову, — возразил он. — Скорее всего, помощь требуется тебе.

Это тебе привет от Стефано вместе с его словами. Если Паук — ты, я бы посоветовал тебе как можно скорее смыться отсюда.

Я опять засмеялся. У меня не было причин вешать голову. Это все болтовня. Поболтали и разошлись.

Оглядевшись по сторонам, я прошептал:

— Но почему? В чем, собственно, обвиняют этого Паука?

Он закурил сигариллу и приступил к долгим объяснениям. Все это было не похоже на Луиджи.

— Предположим, что есть такая фабрика фантазии, — начал он. — Работает там всего один человек, и предположим, что это мужчина. Он втайне и без передышки прядет изящные наброски для романов и всякого рода пьес. Предположим, у него нет никаких амбиций и он не хочет сам писать свои книги, это непонятно и загадочно, но вполне возможно. Может, ему просто неприятно подписать своим именем хоть одно стихотворение, хоть одну новеллу, а может, им просто движет редкое желание жить инкогнито, но не сочинять сюжетов и фабул он просто не может, остановить этот мотор не в его силах. Предположим, что за долгие годы он опутал своей паутиной весь книжный мир, и у себя дома, и за рубежом. Он знаком не с одной сотней писателей, и многие из них время от времени переживают то, что мы называем творческим кризисом. Предположим, кое-кто из них готов приспустить свой флаг, предположим, что эта фабрика фантазии начинает продавать литературные полуфабрикаты впадшим в депрессию писателям. Ты следишь за моей мыслью?

Он впился в меня глазами. Пока он говорил, я подозревал официанта и заказал бутылку белого

вина. Меня взбесило, что Луиджи считает, будто он осведомлен лучше, чем я.

— Конечно слежу, — ответил я. — Думаю, что ты прав, нечто подобное происходит, я тоже так думаю.

— Правда?

Я продолжал:

— Но что с того? Я согласен, ты описал курьезный феномен, но неужели тебе не приходило в голову, что писатели с радостью принимали ту помощь, которую могли получить от этой фабрики фантазии? Разве это нанесло урон читающей публике? Когда холодно, сыро и трудно разжечь большой костер, человек бывает благодарен судьбе, если у него нашлась канистра с керосином.

Он засмеялся:

— Еще бы! Но, по-моему, ты недостаточно хорошо знаешь эту страну.

Его комментарий показался мне глупым. Все-таки я был европейцем.

— Ты можешь вспомнить какие-нибудь названия? — спросил я.

Он назвал пять романов, вышедших в Италии за последние несколько лет. Пятый из них, который назывался «Шелк», был настоящей жемчужиной итальянской фантазии, однако ко мне он не имел ни малейшего отношения.

— Браво, — сказал я, сам не зная почему, но это было глупо.

— Все говорит о том, — продолжал он, — что сия фабрика фантазии работает уже много лет, и представь себе, что писатели начали нервничать. Они попали в зависимость от стимуляторов, поставляемых извне, и теперь боятся допинг-контроля. В любое время может всплыть, что они мухлевали в своем

деле. Они больше не доверяют Пауку, ведь он при желании может лишить их славы, которую им принесли эти книги. Предположим, в один прекрасный день они от страха все откроют.

Я опять огляделся. Может, нас кто-нибудь подслушивает? Но и оглядываться тоже было глупо.

— Ты думаешь, это должно пугать Паука? — прошептал я. — Ведь он не сделал ничего противозаконного, да и вообще достойного порицания, если на то пошло. У него наверняка есть договор с каждым писателем, с которым он имел дело.

— Ты не итальянец, — снова сказал он. — И ты слишком доверчив. А что, если какие-то писатели должны ему деньги? Большие деньги.

Терпеть не могу, когда меня считают наивным, а уж самое отвратительное — это сообщество людей, считающих, что они хитрее меня. Я не так боялся, что меня отождествят с Пауком, как того, что кто-то решит, будто видит меня насквозь.

— Это пустяки, — буркнул я. — Даже если он не получит всего, что ему должны писатели, он не пропадет. Не вижу причин беспокоиться ни тебе, ни мне, ни, если на то пошло, даже читающей публике.

Меня раздражало, что я не нахожу нужных слов, у меня как будто рот забило песком. Луиджи посмотрел мне в глаза:

— Что они предпримут, Петтер? А ты попробуй представить себе такой сюжет. Напряги свою фантазию.

— Конечно, они постараются его убить, — сказал я.

Он кивнул:

— Вот именно. Они наймут кого-нибудь, чтобы его убить. У нас в стране это легко.

Бутылка белого вина уже давно стояла у нас на столе, половину я даже успел выпить.

— А ты не думаешь, что Паук это предусмотрел?

— Безусловно, — ответил Луиджи, — безусловно. Ты только вспомни все хитроумные сюжеты, которые он придумал. Откуда мы знаем, не пользовался ли он скрытой камерой и микрофонами? Возможно, если его убьют, мир узнает, за какие романы он должен благодарить именно Паука. Каждая придуманная им фраза станет известна людям, может быть через Интернет, и многие писатели сгорят от стыда. Может быть, именно поэтому ему удалось продержаться столько лет, фундаментом его безопасности служило писательское тщеславие. Вообще-то, благодаря ему вышло много хороших книг, мы не должны этого забывать. Всем будет не хватать его, в том числе и нам, издателям.

Вот тут я от души рассмеялся:

— О чем это мы с тобой толкуем? Неужели ты и в самом деле веришь, что найдутся люди, готовые пойти на убийство, чтобы потом «сгореть со стыда»?

— Да нет же, Петтер! Ты ошибаешься. Пауку нужно бояться не этих «стыдливых», они по-прежнему у него в руках.

На меня снизошло просветление. Терпеть не могу, когда мне говорят, что я ошибся. Я решил тут же исправить положение.

— Ты прав, — сказал я. — Конечно, Паук должен опасаться не стыдливых, а тех, кто ничем не гнушается ради известности и готов платить за нее даже позором. Сегодня этот рынок только растет. Когда я был молодым, его практически не существовало, но времена изменились. Даже японцы перестали делать себе харакири, я считаю это позором, это уже

декаданс. Все больше и больше людей идут на бесчестье, если оно привлекает к ним внимание прессы и делает их известными. Ты прав, Луиджи, очень верная мысль.

Он выразительно кивнул и продолжал:

— Они всю жизнь должны выплачивать ему роялти от своих доходов, не то десять, не то двадцать процентов. А ведь писатели тоже не сделали ничего незаконного, не забывай этого! За использование чужого сюжета для романа в тюрьму не сажают. Но с годами их жадность растет, и Паук не сможет получить деньги, которые ему причитаются, из потустороннего мира. Или, думаешь, он позаботился, чтобы его считали наследником по прямой линии? Думаешь, он и это предусмотрел?

Нет, конечно. Я допустил грубую ошибку, это было неприятно. Я не учел бесстыдных.

— Тогда у него есть надежда, — сказал я. — Он может объявить, что прощает писателям все их долги. И опасность минует, все опасности минуют, и у писателей уже не будет причин его убивать.

Луиджи пожал плечами. И улыбнулся, или мне это показалось?

— Боюсь, дело зашло слишком далеко, — произнес он. — Безусловно, они уже начали травлю.

Ату его! Хватай! Я вспомнил, как меня ловили в детстве, все тумачи, которые я получал, Рагнара, который проломил мне голову, так что меня возили в Больницу скорой помощи и наложили двенадцать швов.

Я оглядел площадь перед массивным собором и вскоре заметил маленького человечка с тросточкой и в фетровой шляпе. Этот маленький гомункул прогуливался по площади и разил гуляющих

своей бамбуковой тростью, словно она была обоюдо-острым мечом, но его никто не видел. Я подумал, что ему следует быть внимательнее. Метра подстерегала опасность сделаться пародией на самого себя.

Луиджи как будто переменял тему разговора, но вдруг он спросил:

— Ты знаешь роман, который называется «Тройное убийство *post mortem*»?

Я вздрогнул, что не укрылось от его внимания. Это был криминальный роман Роберта, книга, которая вышла в Осло года два тому назад.

— Есть один норвежский роман с таким названием, — проговорил я. — Но не думаю, что он может иметь здесь успех.

Луиджи засмеялся почти грустно.

— Я тоже слышал о том норвежском романе, — сказал он. — Между прочим, именно из-за него я и беседую с тобой. Но я имел в виду одноименный немецкий роман, который недавно перевели на итальянский. Его издатель по секрету рассказал мне, что был изрядно смущен, когда несколько дней назад узнал, что точно такая же история положена в основу норвежского романа, изданного в том же году, что и немецкий. Сюжеты так похожи, что о случайном совпадении не может быть и речи.

Я почувствовал, как у меня запылали щеки. Мария опять дала знать о себе. Я постарался, чтобы Луиджи не заметил, что у меня дрожат руки.

Я хорошо помнил наши с Марией встречи в студенческом городке, она тогда как раз мечтала забеременеть. Мы вышли на общую кухню и поджарили себе яичницу с беконом, а потом поспешили в ее комнату и снова бросились на тахту. Именно тогда я рассказал Марии историю про тройное убийство после смерти.

Это был экспромт, а вернувшись домой, я записал несколько фраз и забыл о них, пока не извлек для Роберта много лет спустя. Я только перенес действие во фламандскую среду, потому что его мать была фламандкой.

— И как фамилия этого немецкого писателя? — спросил я.

— Виттманн, — ответил Луиджи. — Вильгельмина Виттманн.

Он погасил сигариллу и оглядел площадь. Потом сказал:

— Похоже, Паук к старости стал забывчив.

Он и не подозревал, как мне больно такое слышать. Все эти годы я строго следил, чтобы не появилось двух книг, написанных на один сюжет. Однако я не учел доверия, которым сам же удостоил Марию, но ведь это было почти тридцать лет тому назад и задолго до того, как «Помощь писателям» набрала силу. Двадцать шесть лет я ничего о ней не слышал, но вот она неожиданно о себе напомнила. Мне следовало немедленно связаться с нею, теперь это было неизбежно. Но меня вдруг поразила одна мысль, которая раньше почему-то никогда не приходила мне в голову: я ни разу не спросил у Марии, как ее фамилия. Наверное, это звучит странно, ведь наше знакомство продолжалось несколько месяцев, но в семидесятые годы не было принято обращаться друг к другу по фамилии. На двери ее комнаты в студенческом городке висела фарфоровая табличка, на которой большими красными буквами было написано: «Мария». Как только мы заключили договор о ее беременности, она уже сознательно не хотела, чтобы я знал ее фамилию или адрес. О том, что Мария получила место хранителя в одном из стоковых

музеев, я знал от нее самой. Я подумал, что мир тесен, но стог сена достаточно велик, если в нем надо отыскать ржавую иголку.

— В интересные времена мы живем, — заметил я. — Я не Паук, но, конечно, буду осторожен. И если что-нибудь узнаю...

— Прекрасно, Петтер, — прервал он меня, — это будет прекрасно.

Я чувствовал себя идиотом. Я устал. Устал еще тогда, когда умерла мама.

— Что я должен делать, Луиджи? — спросил я, подняв на него глаза.

— Уезжай из Болоньи, и чем раньше, тем лучше. — Он произнес это с улыбкой, но улыбка была двусмысленная.

Мне стало смешно:

— Думаю, ты слишком начитался криминальных романов.

Его улыбка стала еще шире. Луиджи всегда был шутником. Может, все это блеф и никакая опасность моей жизни не угрожает?

Кристине и Луиджи ничего не стоило догадаться, что Паук — это я, вот Луиджи и решил подшутить надо мной. Название «Тройное убийство *post mortem*» он мог слышать от любого норвежского издателя, может быть, даже взял книгу на опцион, и его насторожило, что одна и та же история рассказана двумя разными писателями. Да и была ли в газете «Коррьере делла сера» эта статья?

— Тебе может понадобиться охрана, — сказал он.

«Телохранитель», — подумал я. Это была новая и очень неприятная мысль.

Я почувствовал себя еще глупее. И, что было мне уж совсем несвойственно, лишился всякой фантазии.

Внешнее давление свело на нет давление, шедшее изнутри. У меня не было слов. Я не нашел ничего умнее, как засмеяться. Это было пошло, хвастать тут нечем.

— Над такими вещами не смеются, — заметил Луджи.

Я разозлился, потому что не знал, шутит он или говорит серьезно. Вскоре я встал и положил на стол деньги за вино.

— Ты живешь в «Бальони»? — спросил он.

Я не ответил.

— Куда ты поедешь?

Когда я не ответил и на это, он поднял вверх указательный палец.

— Наверное, тебе следует быть осторожнее с дамами, — произнес он.

— Что ты имеешь в виду?

Он усмехнулся:

— Говорят, ты довольно любвеобильный мужчина. Кажется, дамы — это твоя единственная слабость. Или нет?

Не думаю, чтобы он ждал, что я на это отвечу. Я и не ответил. Он все понял, он был не глуп. Неужели двое мужчин, сидя в кафе, должны обсуждать свои отношения с дамами? В этом нет ничего интересного, скорее, что-то липкое.

— Они могут подослать к тебе подсадную утку, — предупредил он. — Может, какую-нибудь старую подругу.

Я фыркнул:

— Ты читаешь слишком много шпионских романов. — Я попытался засмеяться. Если бы знать, что у него на уме!

Он протянул мне свою визитку:

— Тут номер моего телефона.

Я взял карточку, взглянул на нее, я всегда хорошо запоминал цифры. Потом разорвал визитку и сложил обрывки в пепельницу. Посмотрел на него. Я знал, что мы вряд ли еще увидимся.

— Спасибо, — буркнул я и, быстро отвернувшись, ушел, потому что на глаза мне навернулись слезы.

Меня не пугали намеки на заговор. В глубине души я считал, что Луиджи стрелял вслепую. Небось, думал, что завтра в полдень мы с ним на ярмарке выпьем по рюмочке. Но я знал, что отныне «Помощь писателям» превратилась в легенду. Я не испытывал облегчения, меня к этому просто принудили.

Я пошел в отель, чувствуя, что остался без тормозов. Наверное, на мою беду у меня их никогда и не было. Я шел на холостом ходу, всю жизнь я двигался на холостом ходу. Действовал как мозг, не связанный ни с чем. Для меня существовали только две величины: мир и мой мозг, мой мозг и мир.

Я обладал запасом фантазии большим, чем требовалось миру. Можно сказать, что я даже не жил, а только получал компенсацию за настоящую жизнь. Не знаю, кто меня так наказал: мама, Мария или я сам.

★ ★ ★

Проспав всего несколько часов, я на рассвете спустился в холл. На виа Индепенденца было тихо, но, расплачиваясь за гостиницу, я заметил, что за мной наблюдает молодой человек. Он сидел в кожаном кресле, укрывшись за газетой. Трудно было понять, встал ли он только что или просто еще не ложился спать. Когда я вышел на улицу и сел в такси,

он последовал за мной. Я не успел проследить, сел ли он в какой-нибудь автомобиль, но мне показалось, что я мельком видел его в аэропорту. В ухе у него был микрофон, это выглядело отвратительно. По-моему, я прошел регистрацию быстрее, чем он.

Когда я подошел к выходу на посадку, она уже началась, через несколько минут самолет вырулил на взлетную полосу и поднялся в воздух. У меня было место 1А, я специально заказал его. Мне нравится смотреть вправо. Самолет направлялся в Неаполь, это был первый утренний рейс из Болоньи. Через двадцать минут после него вылетал самолет во Франкфурт. Дальше он следовал в Осло.

Когда самолет достиг нужной высоты, я откинул назад спинку кресла, и на меня снизошел почти просветленный покой. Вскоре в памяти всплыла одна история из детства. История была не вымышленная, но с тех пор я ни разу о ней не вспоминал. Жизнь прошла так быстро, мне уже столько же лет, сколько было маме, когда она умерла. Вот эта история.

Читать и писать я научился в четыре года. Меня учила не мама, она как раз считала, что мне следует подождать с этим до школы. Читать я научился сам и сейчас помню, как нашел на полке старый букварь. Мне было не очень трудно справиться с двадцатью девятью буквами.

Однажды, оставшись дома один, я взял красный цветной карандаш и пошел в мамину спальню. Из двух больших окон, обрамленных синими занавесками, открывался красивый вид на город. У противоположной стены стоял белый гардероб, а белизну двух других стен ничто не нарушало. Это было скучно. Мне стало жалко маму. У меня на стене хотя бы висел портрет утенка Дональда.

Я сочинил забавную сказку, впрочем, я сочинил ее уже давно, но ничего не говорил маме. Это должно было стать для нее сюрпризом. Я взял красный карандаш и начал писать на белых обоях. Сперва мне пришлось встать на стул — мне нужна была вся стена, вернее, две стены. Через несколько часов я закончил свою работу. Я лег на мамину кровать и стал читать длинную сказку, которую написал на стене. Мне было чем гордиться. Теперь мама каждый вечер, лежа в постели, могла читать перед сном мою забавную историю. Я знал, что эта красивая история ей понравится, хотя бы потому, что я сочинил ее специально для мамы. Другое дело, если бы я придумал ее для себя или для папы, это было бы уже совсем не то. Но отец больше не жил с нами. Мне было три года, когда он ушел из дома.

Я долго лежал на кровати и ждал маму. Ждал с радостью и нетерпением. Я часто готовил ей маленькие сюрпризы, но это было нечто иное, это был огромный сюрприз.

Теперь, сидя в кресле самолета, летящего в Неаполь, я вспоминал звук отпираемого мамой замка в тот не похожий на все остальные день.

— Я здесь! — крикнул я ей. — Я здесь!

Мама пришла в бешенство. Это было настоящее безумие. Она рассердилась, даже не прочитав того, что я написал на стене. Она сдернула меня с кровати, швырнула на пол, надавала мне оплеух, потом вытащила в коридор и заперла в ванной. Я не плакал. Я вообще не произнес ни слова. Мне было слышно, как мама звонит отцу, как ругает и меня, и его. Она сказала, что отец должен прийти к нам и наклеить новые обои. Что он и сделал через несколько дней. После этого у нас еще долго пахло клеем. Это был позор.

Мама весь вечер не выпускала меня из ванной. Она пообедала, выпила кофе и прослушала первый и второй акт «Богемы». Мне она велела лечь спать. Я подчинился, не сказав ни слова. Несколько дней я с ней не разговаривал, но делал все, что она мне велела. Наконец она взмолилась, чтобы я снова стал с ней разговаривать. Тогда я сказал, что никогда больше не буду писать на стенах, и на бумаге тоже, вообще не буду писать, даже на туалетной бумаге. Я был очень упрямый, и в некотором смысле я свое слово сдержал. После того случая мама ни разу не видела ничего написанного мною, ни одной буквы. Я ни разу не разрешил ей заглянуть в мои школьные тетради. Иногда она беседовала об этом с учителями, но учителя были согласны со мной. Я так хорошо учусь и готовлю уроки, говорили они, что маме нет надобности проверять мои тетради. Иначе и быть не могло.

Не могу утверждать, что именно из-за того случая я не стал писателем, но рисовать я перестал из-за него, это точно. Какой смысл рисовать, если некому показывать свои рисунки? Помню, меня однажды поразила мысль, что если бы я когда-нибудь написал книгу и издал ее большим тиражом, то все равно не узнал бы, прочитала ее мама или нет. Но выступить с этим я не мог. Я выступил только один раз, в маминной спальне, с теми письменами на стене. Мама была навсегда лишена возможности зайти в книжный магазин и купить книгу с моим именем на переплете.

Когда стюардесса предложила мне завтрак, я отказался, но, подремав несколько минут, открыл глаза. Мы пролетали над равнинами Умбрии. Мне исполнилось сорок восемь лет, половина жизни была уже позади, вернее, семьдесят пять процентов

жизни, а может, и больше, может, все девяносто девять процентов были уже позади. Жизнь оказалась непостижимо короткой. Наверное, именно поэтому я не хотел ставить свою фамилию на переплетах книг. Человеческое тщеславие и кривляние под глянцем культуры теряли свое значение рядом с той бесконечной сказкой, в которой мое присутствие было мимолетным. Я научился не обращать внимания на несущественное. С детских лет я знал другое летосчисление, отличное от летосчисления глянцевых журналов и книгоиздания. Когда я был маленьким, мы с отцом увидели кусок янтаря, которому было много миллионов лет, и в нем лежал такой же старый паук. Я жил на Земле еще до возникновения на ней жизни четыре миллиарда лет назад, я знал, что Солнце скоро превратится в красного гиганта и задолго до этого Земля станет сухой, безжизненной планетой. В таких случаях человек не станет записываться на курсы норвежской традиционной росписи по дереву. У него не хватит для этого душевного спокойствия. И на литературные курсы он тоже не пойдет. Тут уже не до того, чтобы таскаться по кафе и говорить, будто начал «что-то писать». Может, кто-то и пишет, в этом нет ничего плохого, но никто не пишет, чтобы писать. Наверное, пишут, когда имеют что-то за душой, когда знают слова, которые могут утешить людей, но никто не садится и не пишет только ради того, чтобы писать или ПИСАТЬ. Однако некоторые поэты позируют на подиумах. Поднимайтесь сюда, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на ежегодный показ коллекции от «Кипенхойер и Вич»²⁸. У нас есть одна модель, которая

²⁸ Крупное немецкое издательство.

должна вас заинтересовать. Это изысканный роман от «Армани», совершенно неповторимый в своем жанре. И здесь же мы видим поэтическую новинку от Зуркампа²⁹ — «*mit Poetenschal natürlich... und mit Ord und Datum, bitte*»³⁰.

Я устал. Но «Помощь писателям» уже ушла в прошлое, одна литературная эпоха миновала. Я больше никогда не вернусь на международные книжные ярмарки. Однако я решил попробовать спасти свою жизнь.

Когда мы приземлились в Неаполе, я первым вышел из самолета. Пробежав через зал прибытия, я упал на заднее сиденье такси позади шофера и велел ехать в Амальфи. Ему наверняка не часто приходилось везти пассажира так далеко.

Я никогда не был в той части побережья, но мне неоднократно рекомендовали провести несколько дней в очаровательном городке на берегу Салернского залива. Об Амальфи мне рассказывала Мария, она была там в детстве на каникулах. Роберт тоже часто вспоминал поездку в Южную Италию, которую совершил еще до того, как Венке ушла от него.

Мы проехали мимо Помпеи, и я представил себе жителей этого города за несколько минут до извержения Везувия. Как только перед моим мысленным взором появилась эта картина, я попытался ее прогнать. То, что я увидел, можно было определить одним словом — *vanitas*, суета. Раздался грохот. И Везувий обрушил свой гнев на всех этих кривляк.

²⁹ Зуркамп, Петер (1891–1959) — основатель одного из ведущих немецких издательств.

³⁰ «С поэтическим сумасбродством, конечно... и с указанием места и даты, будьте любезны!» (нем.)

Когда мы перевалили через гору и стали спускаться к берегу мимо лимонных рощ, я попросил шофера отвезти меня в отель «Луна Конвентино», о котором много слышал. Я не знал, есть ли там свободные номера, но до Пасхи оставалась еще целая неделя.

Свободных номеров оказалось достаточно. Я выбрал пятнадцатый, к счастью, он был не занят, предупредил, что проживу у них не меньше недели, и вскоре уже сидел перед окном и смотрел на море. В комнате было два больших окна, перед вторым, опершись о подоконник, примостился Метр, он тоже глядел на море. Солнце стояло довольно низко, было примерно четверть десятого.

Я склонился над старинным письменным столом. За ним когда-то сидел и писал Хенрик Ибсен, я слышал, что он останавливался в пятнадцатом номере этого старого отеля, бывшего в четырнадцатом веке францисканским монастырем. Именно здесь он закончил работу над «Кукольным домом», теперь тут висел его портрет.

Я вдруг подумал, что вырос в кукольном доме. И снова вспомнил то, что всегда пытался забыть, и это была не сказка, которую я написал на обоях маминной спальни, это был кошмар, уходящий корнями гораздо глубже. Я чувствовал угрозу, исходящую от темной холодной бездны под тонким льдом, на котором я танцевал.

В этой самой комнате Ибсен учил Нору танцевать дикий паучий танец, тарантеллу, рассуждал я, собственно, это был танец смерти. Укушенный тарантулом человек танцует, пока не падает замертво. Пауком был, разумеется, адвокат Кругстад, раньше я никогда не думал об этом, но теперь это удивило меня. Я невольно улыбнулся. Я попал в Неаполь

случайно. Если судьба существует, она очень иронична.

Бросив последний взгляд на море, я осмотрел свой номер. Метр уже беспокойно бегал взад и вперед по керамическим плитам. Один раз он остановился и властно взглянул на меня, указывая в мою сторону своей бамбуковой тростью.

— И что теперь? — спросил он. — Может, мы теперь покаемся в своих грехах?

Я достал ноутбук, сел к столу и начал писать историю своей жизни.

Беата

В углу перед камином стоят две пустые бутылки из-под виски. Не понимаю, почему прислуга не убрала их, но я брошу их в мусорную корзину, прежде чем рано утром пойду завтракать.

Я прожил здесь уже десять дней и за последние три дня ничего не написал. Писать больше было не о чем. Но теперь есть.

Первый раз после отъезда Марии я встретил женщину, с которой оказался, как говорят, на одной волне. У меня здесь появилась подруга, мы с ней совершаем долгие прогулки по береговым пустошам вокруг Амальфи. Она, как девочка, носит белые сандалии и желтое летнее платье, в них она ходила и в горы. У нее хорошее чувство юмора, и она не из тех, кого может испугать холодный душ. Сегодня нас застигла сильная гроза.

Я много думал о предостережении Луиджи, но мне трудно представить себе Беату в роли подсадной утки, мы уже сильно привязались друг к другу. Если ее и подослали сюда как подсадную утку, то, наверное, она по пути отказалась от этой роли. Я до сих пор не видел никого с микрофоном в ухе, и мы с ней уже два раза были в Мельничной долине, где не встретили ни одной живой души.

Я убежден, что у Беаты тоже есть своя тайна. Она так странно вела себя, когда мы сегодня вечером возвращались из маленькой деревушки Поджеролы. На нее вдруг напал страх, она горько плакала, говоря, что мы больше не должны встречаться.

Однако рано утром мы все-таки отправимся на прогулку через горы в Равелло. Беата свободна, она ни с кем не связана, возможно, я спрошу у нее, не хочет ли она отправиться со мной на Тихий океан. Я расскажу ей о «Помощи писателям» и уже поведал несколько историй. Мне больше не надо сдерживать себя, я выпускаю все сюжеты на волю и возвращаю себе то, что принадлежит мне.

Вскоре Беата прочтет и то, что я написал в отеле за эти дни. Не думаю, что ее шокируют мои отношения с девушками, может быть, они даже развеселят ее. После вчерашних слез ей это будет полезно. Она тоже не монашка, я не спрашивал ее о прошлом, но оно не имеет никакого значения ни для кого из нас. Она еще не знает, что я очень богат, сперва я спрошу, не поедет ли она со мной на Тихий океан, и только после этого расскажу о своей полной материальной независимости. Я уже начал изучать авиамаршруты. По средам есть рейс из Мюнхена в Сингапур, и я на всякий случай заказал два билета. Места ID и IG в первом классе.

Посмотрим, что будет.

Мы сможем переезжать с острова на остров, пока не выберем то, что нам подходит. Сможем, если на то пошло, купить дом, может быть, найдем бунгало с видом на море. Я уже могу уйти на покой, а Беата будет писать акварели.

Опять я расфантазировался. Но многого для этого не надо.

Закончив свое краткое жизнеописание — вплоть до поспешного отъезда из Болоньи, — я несколько часов просидел перед окном, не сводя глаз с волн, бьющихся о Сарацинскую башню. Это было в Страстную пятницу, за день до того я встретил Беату. И даже не пошел в город, чтобы посмотреть на процессию в память о муках Христовых.

Я решил попросить разрешения отправить из отеля электронной почтой Луиджи то, что я здесь написал. Возможно, будет неплохо запутать след. Пусть Луиджи, если захочет, отдаст мою исповедь своему другу журналисту, который пишет для «Коррьере делла сера», а тот уже может делать с ней все что угодно. Я заинтересован, чтобы историю опубликовали как можно скорее или хотя бы сослались на нее. А я бы тем временем уже уехал из страны, изгой не должен надолго задерживаться в одном месте.

Проснувшись на другое утро, я все-таки решил остаться в Амальфи еще на один день. Была Великая суббота, погода прекрасная, и я еще не выбрался в Музей бумаги. После завтрака я спустился в город и купил «Коррьере делла сера» — ее я покупал каждый день. Два дня назад в короткой заметке о книжной ярмарке в Болонье я нашел пару строчек о том, что в этом году на ярмарке не было представлено ни одной сенсационной книги, за опцион на которую бились бы все издатели, — тогда еще не существовало книг о Гарри Поттере. В этом году сенсацию вызвали слухи о некоем Пауке. За этим прозвищем скрывалась таинственная современная фабрика фантазии (sic!), которая снабжала идеями и полу-фабрикатами для романов писателей по всему миру.

Автор статьи, Стефано Фортерчиари, напоминал, что в древние времена люди нередко приписывали прославленному автору целый ряд чужих произведений. Но в случае с фабрикой идей речь идет о противоположном явлении. Несколько десятков, а может, и сотен книг были написаны на основе идей и набросков, принадлежавших одному человеку. Я невольно улыбнулся, прочитав эти строки. После меня останется заметный след.

Автор статьи делал интересный вывод: описанный им феномен не столь оригинален, как можно подумать. Церковники во все времена заявляли нечто подобное о книгах Библии. Библия, безусловно, составлена из произведений многих писателей, но богословы считают, что за всем этим собранием текстов стоял один метаписатель. Они отнюдь не имели в виду, будто Бог вдохновил каждую фразу Библии, Бог действует не так. Но Он дал каждому писателю некий *le clou* (стержень, толчок). Он дал им нечто, над чем можно подумать.

Я разделял это коллегиальное мнение о том, как Бог работал с людьми. В ответ Он тоже требовал определенных услуг, Он оставил за собой все — от прославления до епитимьи. Но пошел дальше меня: Он угрожал уничтожить всех, кто не верил в Него, и современные люди не могли согласиться на подобные условия. Теперь Бог умер, и убили Его, сговорившись между собой, озлобленные авторы.

Стефано... Наконец я получил свидетельство того, что Луиджи не блефовал, но и только. В статье не было даже намека на то, что именно этот журналист писал раньше о фабрике фантазии, напротив, создавалось впечатление, будто сегодняшняя статья была отголоском того длинного разговора, который

состоялся у меня в Болонье с Луиджи. К тому же в статье не упоминалась ни норвежская, ни немецкая версия «Тройного убийства post mortem».

Я так и не понял, действительно ли существовал план по моему устранению, но и не мог допустить, чтобы сомнение повредило обвиняемому.

Я пересек оживленную набережную и расположился в пиццерии на берегу. Там я заказал салат из помидоров, пиццу и пиво.

Внимание мое не ослабевало ни на минуту. Я больше не верил, что кто-то преследовал меня с самой Болоньи, но не исключал, что какой-нибудь английский или скандинавский издатель соединил поездку на ярмарку с последующими пасхальными каникулами на юге Италии. Книжная ярмарка в Болонье всегда проводится или незадолго до Пасхи, или сразу после нее.

Ожидая заказа, я обратил внимание на привлекательную молодую женщину в желтом летнем платье и белых сандалиях. Она сидела неподалеку в полном одиночестве, ей было около тридцати. Незнакомка безуспешно пыталась прикурить от розовой зажигалки. Неожиданно она встала, подошла ко мне и спросила, нет ли у меня спичек. Говорила она по-итальянски, хотя легко было понять, что она не итальянка. Я сказал, что не курю, но, увидев на соседнем столике зажигалку, взял ее, не спрашивая разрешения у немецких туристов, дал женщине прикурить, положил зажигалку обратно на стол и кивнул немцам в знак благодарности. Поев и расплатившись, я на ходу помахал рукой даме с сигаретой. Она что-то рисовала в блокноте, загадочно улыбалась и махнула рукой мне в ответ. Я был уверен, что никогда раньше ее не видел, в противном случае я, несомненно, обратил бы внимание на ее необычное лицо.

Пройдя через город, я зашел в Музей бумаги, расположенный в старой бумажной мельнице. Амальфи — одно из первых мест в Европе, где стали производить бумагу. Пожилой человек показал мне, как размельченная бумажная масса прессовалась и как сушились мокрые листы. Он до сих пор изготавливал бумагу по старому методу — традиция, которая, по его словам, восходит к двенадцатому веку. Он показал изысканную почтовую бумагу своего производства и объяснил, как делаются водяные знаки.

Было жарко, но я решил в последний раз прогуляться по Мельничной долине перед тем, как покину Амальфи. Один раз я уже поднимался туда, но мне и сегодня было трудно найти узкие переулочки, ведущие из города, однако вскоре цивилизация уже осталась у меня за спиной.

По обе стороны от пешеходной дорожки расположились террасы, густо заросшие лимонными деревьями. На кроны были накинута зеленая и черная нейлоновые сети, чтобы защищать лимоны от ветра и града. Я поздоровался с маленькой девочкой, игравшей со старым обручем, но не увидел женщины в черном платье, которая неделю назад высунулась из окна и угостила меня рюмкой лимонного ликера. Пасхальное солнце выманило из укрытий сотни крохотных ящериц. Они были очень пугливы. Наверное, здесь редко ходили люди.

Наконец дома кончились, я миновал старый акведук. Посыпанная гравием прогулочная дорожка называлась виа Парадизо. Красноречивое название. Вскоре виа Парадизо превратилась в идиллическую тропинку для скота, проходящую по заросшему дну долины рядом с рекой.

В прошлый раз мне здесь не подалось ни одной живой души, но теперь я услышал шорох веток у себя за спиной. В следующее мгновение рядом со мной уже стояла женщина в желтом платье.

— Привет! — воскликнула она, как и прежде, по-итальянски. Она широко улыбалась, словно знала, что найдет меня здесь. У нее были глубокие карие глаза и пышные вьющиеся темно-русые волосы.

— Привет! — откликнулся я и бросил настороженный взгляд на тропу, но она пришла одна.

— Как здесь красиво, — сказала она. — Вы уже бывали здесь раньше?

— Один раз, — ответил я.

Очевидно, она не поняла, что я иностранец. Показав на водопад в пятидесяти метрах впереди, она предложила:

— Искупаемся?

Одной этой реплики было достаточно, чтобы я понял, что встретил женщину своей мечты. Мы никогда раньше не виделись, на ней не было ничего, кроме белых сандалий и тонкого летнего платья. Стояла жара, одеты мы оба были очень легко, но предложение вместе искупаться звучало очень фамильярно.

«Искупаемся?» За этим словом скрывался богатый подтекст. Она и думала, и не думала, что мы должны вместе искупаться в водопаде. Хотела сказать, что солнце жарит. Показала на водопад и дала понять, что он красивый, что он освежает и влечет к себе. Ее короткий вопрос был задан, чтобы проверить мою реакцию. Он означал, что я ей нравлюсь. И ей хотелось узнать, как я на него откликнусь. Хотелось посмотреть, как я кружусь в танце. Она задала тон, ее вопрос был камертоном. Женщина в желтом платье дала мне понять, что охотно пойдет со мной

и что ей совершенно не нужна светская беседа. Она хотела сказать, что нам нечего стыдиться.

Я вспомнил предостережение Луиджи. Поэтому произнес:

— Может быть, нам лучше искупаться завтра?

Она склонила голову набок. Она проверила меня, и я дал лучший ответ, какого можно было ожидать. Принял соломоново решение. Не хватало, чтобы я тут же сорвал с себя рубашку и начал расстегивать пояс. Ее предложение не было настолько буквально. Это был ребус. Если бы я ответил, что не купаюсь в водопадах с незнакомыми женщинами, я бы тоже не выдержал испытания. Чопорно прикрыться правилами приличий означало бы отказ.

Она протянула мне руку.

— Завтра так завтра, — сказала она и засмеялась. — Ну, идемте!

И мы пошли. Она шла по тропинке на шаг впереди меня.

Ее звали Беата, и она приехала из Мюнхена. Она тоже уже неделю прожила в Амальфи, но собиралась остаться здесь на все лето, сняв комнату у одной очень симпатичной вдовы. Она пишет акварели, и в конце сентября у нее в Мюнхене должна состояться большая выставка. Беата сказала, что я должен непременно приехать в Мюнхен на ее выставку. Я обещал, а как же иначе? В прошлом году она выставила свои акварели с видами Праги — она прожила несколько месяцев в чешской столице.

Мы перешли на немецкий. Мне было легче говорить на этом языке, чем Беате на итальянском. По ее произношению я понял, что она родилась не в Баварии, и подумал, что, наверное, у нее есть причины не говорить, где именно. Не знаю почему, но я вбил

себе в голову, что, возможно, ее родители были судетскими немцами, — наверное, оттого, что она сказала, что прожила несколько месяцев в Праге.

Я не назвал ей своего настоящего имени, но придумал подходящий псевдоним. Произнося его, я не сводил с нее глаз. Мне нужно было ее проверить. Она никак на него не отреагировала.

Я не дурак. Может, я и влюбился в нее, но легкомысленным я не был. И не мог забыть предостережений Луиджи. Она не спросила, почему у меня такая фамилия, я сам сказал, что родом из Дании, из Копенгагена. Она не откликнулась и на это. Я рассказывал, что работаю главным редактором одного датского издательства, это звучало правдоподобно. С собой в Амальфи я захватил ноутбук и кое-какую работу, объяснил я, мне требовалось ненадолго уехать из Копенгагена. На мой взгляд, это тоже было похоже на правду. Но я недооценил ее.

— Работу? — переспросила она.

— Да, кое-какую редактуру.

— Вот этому я не верю, — сказала она. — Никто не едет из Дании в Южную Италию, чтобы заняться здесь «кое-какой редактурой». Мне кажется, вы пишете роман.

Я не мог ей лгать, она была слишком догадлива.

— О'кей, — согласился я. — Да, я пишу роман. — И прибавил: — Мне нравится, что ты догадалась об этом.

Она пожала плечами:

— И о чем же будет этот роман?

Я покачал головой — не в моих привычках говорить, о чем я пишу, пока вещь не будет готова.

Мой ответ удовлетворил ее, но я по-прежнему сомневался, что она мне поверила. Неужели она знает,

кто я? Если намек Луиджи о заговоре был только шуткой, я ему этого не прощу.

Мы прошли мимо замшелых руин старой бумажной мельницы. Беата показывала на цветы и деревья и говорила, как они называются. Мы беседовали о том, что йенские романтики тяготели к руинам и старому культурному пейзажу. Говорили о Гёте и Новалисе. Ницше и Рильке. Обо всем. Беата была как сказка, как целое собрание сказок. Интересы у нее были самые разнообразные, она была сложная личность. Мне казалось, что она похожа на меня.

Я не часто бывал так захвачен женщиной, но если уж такое случалось, мне не требовалось много времени, чтобы ее узнать. Мужчины не любят женщин, которых нельзя понять сразу.

Когда мы миновали руины очередной старой мельницы, которая называлась Картьеро Милано, тропинка свернула направо. Беата спросила, был ли я в Понтоне. Я знал, что это маленький городок, расположенный на горном кряже выше Амальфи.

— Значит, идем туда! — заявила она и поманила меня за собой.

Она захватила карту и сказала, что дорога в Понтоне называется виа Пестрофа. Я был раздражен, что не могу понять этимологию этого названия.

Мы двинулись в гору по мощеному проселку, обнесенному высоким каменным бордюром. Несколько раз мы останавливались и смотрели вниз на долину. До нас по-прежнему доносился гул водопада, в котором мы завтра собирались искупаться, но вскоре его шум слился со слабым плеском реки, который еще долетал до нас из Мельничной долины.

Когда через час мы дошли до Понтоне, дышать стало трудно. Мы говорили наперебой и узнали друг

друга достаточно, чтобы понять, что у каждого из нас есть своя тайна. Я побаивался, как бы Беата не начала докапываться до моих секретов, а она как будто опасалась, что меня интересуют ее тайны.

Беата совсем недавно потеряла мать, они всегда были очень привязаны друг к другу. Мать умерла внезапно без всяких видимых причин, и случилось это в ее день рождения в «Байеришер Хоф», где они отмечали торжество вместе с близкими друзьями.

Мать была в превосходном настроении, стояла с бокалом шампанского в руке и вдруг просто осела на пол. Среди друзей оказался врач, но спасти мать было уже нельзя. Она умерла не от сердечного приступа, медики так и не нашли никакой видимой причины. Мать просто покинула этот мир.

— А твой отец? — спросил я.

— Мне не хотелось бы о нем говорить, — довольно резко произнесла она. Потом добавила немного мягче: — Это тоже можно отложить на завтра.

Она посмотрела на меня и засмеялась. Может, подумала о водопаде?

Несколько раз там, где дорога становилась слишком крутой или неровной, Беата брала меня за руку, потому что была в сандалиях, а когда мы вошли в городские ворота Понтоне, она вложила свою руку в мою, и так, словно муж и жена, мы пересекли пьяцетта ди Понтоне. Это было просто и напоминало веселую игру, мы как будто обманули весь мир. Кое-кому требуется много лет, чтобы узнать друг друга, но мы с ней относились к иному типу людей. Мы уже обнаружили много окольных путей друг к другу. И потому позволили себе оставить нераскрытыми свои маленькие тайны.

Оглядев окрестности, мы зашли в бар и, не присаживаясь за столик, выпили по чашке кофе. Беата

заказала себе рюмку лимончелло — лимонного ликера, и тогда я попросил принести мне бренди. Мы почти не разговаривали. Беата хотела закурить, я взял у нее из рук коробок и зажег спичку. Наклонившись над стойкой, мы с вызовом посмотрели друг другу в глаза. Она улыбалась, видно, ее многое забавляло. Я сказал, что она сумасшедшая.

И она с этим согласилась. Я напомнил, что намного старше ее. Ненамного, возразила она. Никто из нас не сказал, сколько ему лет.

Дорога из Понтоне вниз в Амальфи была крутая, в некоторых местах она сменялась узкими лестницами со множеством ступенек. Один раз нам повстречался крестьянин с мулом. Мы прижались к стене и стояли, прильнув и к камню, и друг к другу. От Беаты пахло сливами и черешней. А еще землей.

Мы сели на скамью, чтобы дать отдых ногам. Через несколько секунд подоспел Метр и забрался на каменный бордюр рядом с нами. Сперва он посмотрел на меня и взмахом своей бамбуковой трости как будто спросил разрешения здесь посидеть, я не стал возражать, зная, что он все равно поступит по-своему. «Метр есть Метр», — всегда говорил он, когда я был маленьким. К тому же, сидя здесь, рядом с Беатой, я не мог его отчитать. Если бы я что-то сказал Метру или просто на него шикнул, она могла бы испугаться, во всяком случае, у нее был бы повод усомниться, в своем ли я уме. Поэтому я решил рассказать Беате историю и таким образом косвенно обратиться к маленькому человечку. Вот основные моменты моего рассказа.

В чешской столице Праге давным-давно жил мальчик по имени Иржи Кубелик. Он жил с матерью

в тесной квартирке, отца у него не было. В три года он часто грезил о маленьком человечке, в зеленой фетровой шляпе, с тонкой прогулочной тростью из бамбука. В мечтах этот человечек был такого же роста, как сам Иржи, но во всем остальном ничем не отличался от обычного взрослого мужчины. Просто не вышел ростом, зато язык у него был как бритва.

Маленький человечек пытался убедить Иржи, что от него зависят все поступки и слова мальчика, и не только ночью, во сне, но и днем. Когда Иржи делал что-нибудь, чего ему не разрешала мама, он всегда считал, что виноват в этом маленький человечек. Все чаще случалось, что Иржи пользовался взрослыми словами и выражениями, и мать не понимала, откуда он их набрался. Кроме того, он рассказывал ей странные истории, короткие и длинные, которыми маленький человечек развлекал его во сне.

Сны о маленьком человечке всегда были забавные и живые. Поэтому Иржи часто просыпался с улыбкой и никогда не протестовал, если мама укладывала его спать. Но в одно прекрасное летнее утро маленький человечек не исчез вместе со сном. Открыв глаза, Иржи увидел совершенно отчетливо, что человечек в зеленой фетровой шляпе стоит рядом с его кроватью, в следующее мгновение через открытую дверь он проскользнул в прихожую и оттуда в гостиную. Иржи быстро прыгнул с кровати и бросился следом. И в самом деле, маленький человечек прохаживался по гостиной, помахивая тростью, живой и бодрый.

Когда вскоре в гостиную из своей спальни вышла мама, Иржи возбужденно показал ей на маленького человечка, который стоял в углу гостиной и тыкал

тростью в книги на книжной полке. Но мать должна была честно признаться, что она никого не видит. Иржи очень удивился, ведь сам он хорошо его видел. Его очертания были такие же четкие, как контуры большой вазы, стоявшей на полу, и пианино, которое мама Иржи недавно покрасила в зеленый цвет, потому что старая, белая, краска стала желтеть.

Кое-что в поведении маленького человечка сильно отличалось от того, как он вел себя в снах Иржи. Он, как и раньше, по временам обращался к Иржи, но теперь делал это все реже и реже. Отношения между ними сильно изменились: пока маленький человечек не выходил из снов Иржи, он лишь играл со словами, и только. Но теперь он как будто отказался от языка и от всех слов в пользу маленького Иржи. В снах он к тому же любил собирать сливы и черешню, которые тут же съедал с величайшим наслаждением, или брал с собой Иржи на склад лимонада, который был у него устроен в подвале, там он откупоривал и выпивал бутылку за бутылкой, не спрашивая мальчика, не хочет ли и тот утолить жажду каплей лимонада. В реальном мире, напротив, человечек никогда не трогал ни одного предмета в комнате, кроме своей шляпы и трости, которой непрерывно размахивал. Он ничего не ел и не пил. Поэтому в реальном мире он был лишь тенью того веселого и бодрого человечка из снов Иржи. Возможно, это была цена, которую маленькому человечку пришлось заплатить за то, чтобы перескочить из сна в действительность.

Иржи рос, а маленький человечек продолжал виться вокруг него, где бы тот ни находился, но сам не вырос ни на миллиметр. В семь лет Иржи был уже на голову выше маленького человечка, отныне

Иржи стал звать его Метром, потому что таким был его рост.

С тех пор как Метр просунул голову в действительность и впервые оказался в квартире Иржи, мальчик больше никогда не видел его во сне. Поэтому он был уверен, что Метр либо покинул мир снов по собственному желанию, либо был изгнан из родной сказочной страны и уже не мог найти дороги назад. Иржи считал себя виноватым в том, что маленький человечек заблудился, и поэтому не терял надежды, что когда-нибудь Метр сумеет вернуться в тот мир, из которого вышел. Как бы то ни было, дом Метра остался во сне, а никому не следует надолго покидать действительность, к которой он принадлежит. По мере того как Иржи рос, он все больше уставал от постоянного присутствия рядом с собой этого маленького человечка.

Всю жизнь Метр как тень следовал за Иржи. Можно было подумать, что Иржи повсюду таскает его за собой, но маленький человечек всегда говорил, что это он направляет Иржи и решает все в его жизни. Доля истины в этом была: Иржи не мог увидеть Метра по собственному желанию. Маленький человечек сам решал, когда ему следует показаться Иржи. И потому являлся в самые неподходящие моменты.

Никто, кроме Иржи, ни разу не видел Метра, ни дома в маленькой квартирке, в которой Иржи по-прежнему жил, ни на улицах Праги. Иржи давно перестал этому удивляться.

Когда Иржи вырос и стал взрослым, он встретил свою любовь—ее звали Ярка,—и, поскольку ему хотелось разделить с ней и душу, и жизнь, он несколько раз показывал ей на Метра, когда тот

находился с ними в комнате, чтобы и его любимая тоже увидела это маленькое, пусть и мимолетное, чудо. Но Ярка решила, что у Иржи начал мутиться рассудок, поэтому она замкнулась в себе, а в один прекрасный день ушла от него к молодому инженеру, потому что ей казалось, что Иржи больше живет в собственных фантазиях, чем в реальном мире рядом с другими людьми.

Иржи так и состарился затворником, и только после его смерти случилась примечательная перемена. С того дня, когда Иржи уже покинул время, то есть перестал существовать, по Праге поползли слухи, что вечерами по берегам Влтавы прогуливается одинокий гомункул. Некоторые утверждали, что он бродит по большой площади в Старом городе и ожесточенно размахивает небольшой бамбуковой тростью. К тому же этого маленького человечка время от времени видели на кладбище. Он сидел всегда на одной и той же могильной плите, на ней было написано: «Иржи Кубелик».

Иногда какая-то старая женщина, сидевшая на белой скамье, дружески махала рукой маленькому человечку, навещавшему могилу Иржи. Это была Ярка, которая много лет назад отказалась выйти за Иржи замуж, потому что сочла его сумасшедшим.

Люди считали эту старую даму вдовой Кубелика. Может быть, потому, что она часто сидела на белой скамье и смотрела на могилу Иржи, а может быть, по другой причине.

Почти целый час я рассказывал об Иржи и Ярке, а когда замолчал, Метра на ограде уже не было. Наверное, я его напугал.

Беата о чем-то задумалась.

— Это чешская сказка? — спросила она.

Я кивнул, мне не хотелось говорить, что сказку сочинил я.

— Авторская? — снова спросила она.

Я снова ответил утвердительно, но не был убежден, что она мне поверила. Я не знал, насколько хорошо она знает чешскую литературу.

Когда мы вернулись в город, было уже пять. Я пригласил Беату пообедать вместе со мной в моем отеле. Расхвалил тамошнюю кухню и вид, открывающийся из окна ресторана, а также сказал, что у них есть вино из Пьемонта. Но она ответила, что у нее дела, и отказалась.

— Давай завтра пойдем в Поджеролу, — предложила она.

Я кивнул ей и напомнил:

— И заодно искупаемся в водопаде.

Она нежно ущипнула меня за руку и рассмеялась.

Мы договорились встретиться перед собором в половине одиннадцатого. Это был первый день Пасхи.

В ту ночь я долго сидел и думал о Беате. Такие встречи бывают раз или два в жизни.

Наверное, ей столько же, сколько когда-то было Марии. Мария была на десять лет старше меня, а теперь старшим оказался я. Я был лет на пятнадцать-двадцать старше Беаты, но я хорошо сохранился. Сорок восемь — солидный возраст, однако в последние годы никто не давал мне моих лет. Ненамного старше, сказала Беата. Меня никогда не смущало, что Мария старше меня, как и ее то, что я на десять лет моложе ее.

Я не мог представить себе, что Беата подослана наемным убийцей или что она и есть этот наемный убийца. Но будь это правда, она вела бы себя в точности как сегодня. Она прожила в Амальфи столько же, сколько я. Может быть, я оказался легкой добычей? Завтра утром мы собираемся отправиться через горы в Поджеролу. Куда мы пойдем, придумала Беата, она уже ходила в Поджеролу через Мельничную долину. Обедать со мной она отказалась, сославшись на дела. Может быть, спешила позвонить по телефону, подумал я, вполне возможно, что завтра утром Мельничную долину наводнят молодые люди с микрофонами в ушах. Я так и видел их перед собой, видел, как они заняли позиции среди руин старых бумажных мельниц. Слышал смех Беаты и даже представлял себе передаваемую ей пачку денег. У меня было богатое воображение.

Я взглянул на портрет Ибсена. Но разве не могло оказаться, что и Беата, и я потерпели крушение в жизни и теперь ошупью искали дорогу друг к другу? Я подумал о фру Линде и адвокате Кругстаде³¹, ими были пропитаны стены моей комнаты. Я не сомневался, что душу Беаты тяготит какой-то тайный грех. Почему у нас с ней не может быть общего будущего? Она художница, снимает комнату в городе. Ей невдомек, что я сказочно богат, но об этом я ей пока не скажу.

На другой день в половине одиннадцатого она уже сидела на ступенях собора. На ней было все то же желтое платье, и я подумал, что нас объединяет хотя бы неприязательность в одежде. Во время поездок я всегда до неприличия занашивал свои вещи.

³¹ Герои пьесы Ибсена «Кукольный дом».

А может, это просто ее любимое платье? Мне оно тоже нравилось. К тому же теперь Пасха, и, кто знает, может, она вчера вечером выстирала платье, может, в этом и заключалось то самое дело, из-за которого она отказалась со мной обедать? А вот белые сандалии она заменила парой солидных кроссовок. Ведь нам предстоял неблизкий путь.

Она поднялась со ступеней и подошла ко мне. Сначала мы заглянули в собор и послушали церковное пение. Беата была настроена торжественно и вместе с тем насмешливо.

По узеньким переулкам мы вышли из города, и, пока мы взбирались вверх по крутым склонам мимо лимонных плантаций, она сказала, что никогда не встречала человека, с которым бы, как со мной, чувствовала себя на одной волне. Я ответил тем же на ее неожиданное признание и прибавил, что, несмотря на наше недолгое знакомство, со дней моей юности ни в кого не был так влюблен, как в нее. С блеском в глазах я признался, что ждал ее. Мы и сегодня говорили не без иронии и преувеличений, но теперь за нашей иронией скрывалось нечто серьезное. Я был уверен, что действительно нравлюсь Беате, и сказал ей, что собираюсь уехать из Амальфи в среду.

Потом я спросил, случайно ли она обратилась ко мне за спичками в первый день. Она лукаво улыбнулась, но ответила утвердительно.

— И последовала за мной в Мельничную долину? — спросил я.

Она отрицательно покачала головой, но сказала, что догадалась, что я иду на прогулку, а тут уже было нетрудно сообразить, куда я пойду, — других долин в окрестностях не было. Значит, она случайно

попросила у меня спички, но не случайно пошла той же дорогой, подвел я итог.

— Наверное, нет, — таинственно ответила она.

Я хотел докопаться до истины не только потому, что все время помнил о Луиджи.

— Мы с тобой даже не разговаривали, — настаивал я, — и едва ли обменялись взглядами.

Сперва она засмеялась, а потом выдала мне совершенно другую версию.

— Может быть, ты и внимательный человек, — сказала она, — но, по-моему, плохо себя знаешь... Сначала ты заходишь в пиццерию с «Коррьере делла сера» под мышкой, это означало, что ты, по-видимому, итальянец, а для этих краев это то же самое, что интеллигент. Потом ты садишься и бросаешь взгляд на меня, взгляд ни о чем не говорит, разве о том, что ты по крайней мере не гомосексуалист. Ты заказываешь пиццу и пиво, значит, ты все-таки турист, но владеющий итальянским языком. Ты опять взглянул на меня, но на этот раз твое внимание привлекли мои ноги, ты, конечно, отметил белые сандалии. Мне это показалось важной деталью, потому что не все мужчины смотрят на ноги женщин, а вот ты посмотрел и задержал взгляд на моих сандалиях, стало быть, ты человек чувственный. Наконец, ты открыл газету и сразу нашел раздел культуры, значит, твои интересы лежали именно в этой сфере. Ты еще раз взглянул на меня, всего на какую-то долю секунды, но это был твердый и надежный взгляд. Очевидно, ты не помнишь, что на этот раз я ответила на твой взгляд. Пусть лишь на мгновение, но мы первый раз посмотрели в глаза друг другу, это была наша первая близость, потому что, когда мужчина и женщина, случайно встретившись взглядом, не отводят глаз,

речь идет уже об интимности. Это обоюдоострый взгляд. В тот раз я предположила, что ты пытаешься угадать мой возраст, но, думаю, ошиблась. Я доела свою лазанью и хотела закурить сигарету, но в зажигалке кончился газ. Ты это заметил, однако упустил из виду, что я обратила на это внимание. Прошло уже пять секунд, а ты даже не шелохнулся. Будь у тебя зажигалка, ты бы уже подошел к моему столу и дал мне прикурить, во всяком случае, если был тем, за кого я тебя принимала. Тогда я сама подошла к тебе и спросила, нет ли у тебя спичек. Ты понял то, что я сказала по-итальянски, а мой акцент подсказал тебе, что я иностранка. Ты ответил, что не куришь, но в следующие две секунды схватил зажигалку с соседнего столика и дал мне прикурить. Ты был не из тех, кто просто отослал бы меня к соседнему столику, ты взял ответственность на себя или вернее так: ты не имел ничего против того, чтобы дать мне прикурить, ты был рад, что я обратилась к тебе. Давая мне прикурить, ты убедил меня в том, что делаешь это не в первый раз. Когда я поблагодарила тебя, ты нахмурился, и это подсказало мне, что ты переживаешь какие-то трудности, что, возможно, хотел бы кому-нибудь довериться, хотя бы и мне. Я вернулась к своему столику — на это ушло полторы секунды, — я затылком чувствовала твой взгляд, но мне могло и показаться. Когда ты положил деньги на стол и собрался уходить, то взглянул на меня едва ли не с грустью и махнул мне рукой, по этому взмаху я поняла, что ты не надеешься еще раз увидеть меня. Я сидела и рисовала твой портрет в своем блокноте, мне понравилось твое лицо, но ты был настолько невнимателен, что даже не заметил, что я рисую тебя. Я улыбнулась тебе с подчеркнутой открытостью. Мне хотелось сказать

тебе взглядом, что жить чудесно, и ты ушел, но как будто забрал с собой что-то увиденное в моих глазах. По тому, как ты уходил, я поняла, что ты собираешься в горы, в Мельничную долину, конечно, я могла ошибиться, но, как видишь, не ошиблась. Я решила, что у меня снова появилась возможность проверить, тот ли ты человек, которого мне хотелось узнать лучше.

Я остановился на узкой тропинке и два раза хлопнул в ладони.

— Браво, — сказал я, чувствуя себя раздетым. Меня видели насквозь, и мне нравилось это чувство, чувство, когда тебя видят и понимают, как будто ты вернулся домой. Уже давным-давно мне было не к кому возвращаться домой. — Сперва ты сказала, что совершенно случайно попросила у меня спички, а теперь утверждаешь, будто знала, что спичек у меня нет, — улыбнулся я.

Она засмеялась над моим замечанием. Оно показало, что я взвешивал каждое ее слово.

— Во всяком случае, моя зажигалка случайно оказалась пустой, но ты был не случайным человеком, — заметила она. — Ты был открытой книгой, книгой, которую я уже начала читать.

«Или все знала заранее», — подумал я. Но тут же отбросил эту мысль. Уже по иной причине я спросил:

— У тебя есть другая зажигалка?

Она не поняла, что я имел в виду.

— Ты всегда носишь с собой две зажигалки, одну пустую, другую полную? — уточнил я.

Она взглянула на меня и легонько ударила по щеке. Наверное, я это заслужил.

Мы медленно шли дальше. Чем больше двое людей имеют что сказать друг другу, тем медленнее они

идут. Она рассказала мне о своих акварелях и выставках. А еще о том, что проиллюстрировала два детские книги и подарочное издание сказок братьев Гримм. В последние годы она и сама начала писать.

Это было откровение. Меня поразило, что я узнал об этом только сейчас, но поскольку она смутилась от собственного признания, я предпочел его не комментировать. Многие смущаются, признавшись, что начали писать, может быть, только робость помешала ей открыться вчера.

Я заметил, что приехал в Амальфи с книжной ярмарки в Болонье, и внимательно следил за ее лицом, произнося эти слова, но она никак не отреагировала на них. Мне следовало перестать думать о Луиджи.

— Значит, ты издаешь и детские книги? — спросила она.

Я только кивнул. И погладил ее по голове. Она ничего не сказала на это.

Когда через полчаса мы шли уже по виа Парадизо, на долину с окрестных гор стали наползать большие черные тучи. Было душно. Внизу, в Амальфи, зазвонили церковные колокола, через секунду им отозвались колокола Понтоне, а из-за гребня горы на другой стороне долины им вторили колокола Поджеролы. Наступил пасхальный полдень.

Грянули первые раскаты грома, и Беата схватила меня за руку. Я предложил повернуть назад, но она решительно хотела идти дальше. «Наверное, у нее там назначена с кем-то встреча», — подумал я, прекрасно понимая, что это чушь. Покинув Болонью, я уже раз двадцать или тридцать представлял себе, как меня убьют. Но Беата не участвовала ни в каком заговоре. У меня было достаточно оснований полагать, что

именно она спасет меня от всех хитроумных козней. И я даже начал надеяться, что она научит меня жить так, как живут все люди.

Мы были совсем близко от вчерашнего водопада, когда на нас обрушился ливень. Беата показала на развалины старой бумажной мельницы, и мы бросились туда, чтобы спрятаться и переждать дождь. Мы забрались как можно дальше от входа. Она смеялась как ребенок, и смех ее отдавался глухим отзвуком. Кровля над нами была невелика, но от дождя защищала.

Вскоре гроза бушевала вовсю, не помню, чтобы мне приходилось видеть такое буйство природы или, лучше сказать, что-то более прекрасное, потому что мы быстро сошлись на том, что оба любим грозу. В грозе есть нечто мужское.

Непогода длилась два часа. Все время лило без передышки, но мы не промокли. Мы представляли себе, что живем в пещере в каменном веке.

— Нет ни прошлого, ни будущего, — сказал я. — Все существует только здесь и сейчас.

Мой голос звучал глухо. Беата прижалась ко мне, и я обнял ее одной рукой. И снова она спросила, о чем будет мой роман.

— Сейчас самое время послушать твой рассказ, — предложила она.

Я позволил себя уговорить. И выбрал набросок к роману, который приготовил для продажи как раз перед тем, как «Помощь писателям» приказала долго жить, это была семейная драма. Я держал сюжет в голове и теперь всячески приукрасил его. Вкратце эта история звучала так.

Сразу после войны состоятельное семейство Кьергорд поселилось на старой патрицианской вилле

в маленьком датском городке Силькеборг. В это время у них в доме появилась новая горничная, ее звали Лотта, фамилии своей она не знала, потому что была круглая сирота, она еще не конфирмовалась, ей было лет шестнадцать-семнадцать. Девушка отличалась необыкновенной красотой, это признавали все, поэтому неудивительно, что единственный сын Кьергордов не мог оторвать от нее глаз, когда она работала под неусыпным надзором требовательных хозяев. Он бегал за Лоттой по всему дому и, хотя был еще совсем зелен, умудрился однажды соблазнить ее, когда она в прачечной кипятила белье. Это был один-единственный раз, однако Лотта забеременела. Впоследствии всякое рассказывали о том, что, собственно, произошло в прачечной в тот роковой день. Поговаривали, будто парень — его звали Мортен — изнасиловал девушку, когда она мешала белье в чане для кипячения, но семейство Кьергорд упрямо твердило, что распутная Лотта сама соблазнила Мортена. Многие уверяли, что своими глазами видели, как она заигрывала с Мортеном, хихикала и вообще вела себя неподобающим образом.

Втайне от всех Кьергорды устроили Лотту на новое место, в семью из Южной Ютландии. Но, когда несколько месяцев спустя Лотта родила сына, Кьергорды все-таки взяли ребенка к себе, ибо в его жилах текла кровь их богатой традициями семьи, а еще потому, что, имея в избытке земные блага, похвастаться избытком наследников они не могли, и не хотели, чтобы хоть капля их благородной крови пропала втуне. Лотта противилась как могла и горько плакала, когда у нее забрали ребенка через несколько недель после родов, но все вокруг почитали, что падшая женщина, не имевшая гроша

за душой, не может воспитывать ребенка. Отца у мальчика не было.

Мортен, естественно, не желал знать младенца, он был еще слишком юн, чтобы признать свое отцовство, а его родители, напротив, слишком стары, чтобы объявить мальчика своим собственным сыном. Но у Мортена был дядя, брак которого оказался бездетным, и теперь они с женой взяли на себя родительскую заботу о мальчике, получившем имя Карстен.

Карстен рос. Он знал, конечно, что его родители были уже в годах, когда он родился, — матери шел тогда пятый десяток, — но ему никогда не приходило в голову, что Стине и Якоб — так звали его родителей — ему не родные. На дни рождения он всегда получал поздравительные открытки от «кузена» Мортена и до самой конфирмации — небольшие подарки, присланные по почте, но, как уже говорилось, ему и в голову не приходило, что этот «кузен», который был старше его на восемнадцать лет, на самом деле его родной отец. Семья хранила эту тайну от мальчика.

Якоб был капитаном большого торгового судна, и ребенком Карстен иногда сопровождал отца в плаваниях. Он сильно привязался к обоим родителям, бездетные супруги боготворили Карстена, но, когда он учился в последнем классе гимназии, Стине и Якоб оба умерли с промежутком всего в несколько месяцев. Неожиданно Карстен остался в этом мире совсем один, без семьи, потому что его дедушка и бабушка тоже уже умерли. Лежа на смертном одре, Якоб рассказал приемному сыну старую историю о служанке, прачечной и «кузене» Мортене, который на самом деле был его родным отцом.

Карстен больше не поддерживал никаких отношений с «кузеном». Они не виделись уже много лет. Карстен поступил в Орхусский университет и учился на педагога. Как-то раз у него кончились все деньги. В отчаянии он посетил Мортена, который, конечно, знал, что Карстен его родной сын, но надеялся, что Стине и Якоб унесли эту тайну с собой в могилу.

Мортен был уважаемым главным врачом в больнице Орхуса. Он женился на красавице Малене, дочери судьи Верховного суда в Копенгагене, у них были две хорошенькие дочки, которые обе пели в церковном хоре, и Мортен вовсе не собирался впускать «кузена» в свою безупречную буржуазную жизнь, ведь он знал о происхождении мальчика.

Умолчав о том, что ему известна семейная тайна, Карстен попросил у богатого родственника небольшой заем, или, лучше сказать, стипендию в пятьдесят тысяч крон, он знал, что его кузен очень богат. Но Мортен решительно отказал Карстену, надменным жестом перечеркнув надежды студента, оказавшегося в отчаянном положении. Он угостил юношу стаканом выдержанного виски, рассказал несколько забавных историй о старых временах и, сунув ему в руку пятьсот крон, отправил на все четыре стороны с пожеланиями успехов в учебе. Карстен, который заранее ненавидел родного отца из-за его многолетнего молчания, повернулся к Мортену, посмотрел ему в глаза и сказал: «И не стыдно тебе отказать своему единственному сыну в нескольких тысячах крон? В другой раз я поговорю с Малене...» Мортен сразу обмяк, но Карстен уже повернулся к нему спиной и ушел со словами: «С меня хватит!»

После нескольких трудных лет учения Карстен встретил Кристину, которая с тех пор заняла все

его внимание. За эти годы он лишь несколько раз звонил Мортену и Малене, но всегда трубку снимал Мортен. Известно только, что Карстен больше ни разу не попросил у «кузена» денег. Тем не менее время от времени он получал от него по почте чек, а когда женился на Кристине, ему пришел чек на пять тысяч крон от Мортена, Малене, Марен и Матильды. Этого было недостаточно, чтобы отношение Мортена к родному отцу изменилось, и потому, вступив в брак, он взял себе фамилию Кристины. Ее семья приняла его тепло и сердечно.

Карстен любил Кристину и после встречи с нею уже ни с кем не искал близости. Но судьба благоволит покорным и прибирает тех, кто ей противится. У Карстена на затылке было большое родимое пятно, которое вдруг начало кровоточить. Кристина потребовала, чтобы он показался врачу. Местный врач удалил родимое пятно и, как положено, послал пробу на анализ в Орхус, но результат исследования местному врачу почему-то не прислали. Время шло, а местный врач все молчал. Карстен и Кристина и думать забыли об этом родимом пятне. Однако весной Карстен заболел, у него нашли рак, уже давший метастазы, и тут же вспомнили о пробе, отправленной в больницу Орхуса несколько месяцев назад.

В больнице подтвердили, что проба Карстена была получена, исследована и в результате ему был поставлен диагноз — злокачественная меланома, но для всех так и осталось загадкой, почему местному врачу не сообщили из больницы результатов анализа. Формальная ответственность лежала на главном враче больницы Мортене Кьергорде, но к истории с анализом он, по-видимому, не имел никакого отношения, скорее всего, виноваты были

лаборанты, проявившие халатность в этом деле. В орхусской газете поместили короткую заметку о том, что «главного врача не поставили в известность», из-за чего «было упущено время, когда еще можно было спасти больного». Но об этом быстро забыли.

После начала болезни Карстен прожил всего несколько недель. В основном он лежал дома, Кристина и ее родители ухаживали за ним как могли, поддерживая его и физически, и духовно. Большую помощь они получали от сестры милосердия, которая приходила к ним ежедневно. Ее звали Лотта. Узнав точно, где у Карстена было родимое пятно, она поинтересовалась датой его рождения. Это случилось незадолго до его смерти, но с той минуты она уже не отлучалась от его кровати и все время нежно держала его за руку. Открыв глаза и взглянув на прощание на Лотту и Кристину, Карстен сказал: «С меня хватит!» Это были его последние слова.

Мы с Беатой чуть не целый час сидели прислонясь друг к другу, пока я рассказывал ей историю о Карстене. Она не проронила ни слова, я почти не слышал ее дыхания. Только когда я закончил рассказ, она подняла на меня глаза и сказала, что это удивительная история.

— Хотя и страшная, — прибавила она. — Страшная и удивительная.

Беата была благодарная слушательница. Поскольку сюжет я придумал давно, мне было нетрудно разукрасить его подробностями, уже сидя с Беатой в развалинах старой бумажной мельницы, а гроза добавляла силы и драматизма моему повествованию. Беата повторила, что из этого мог бы получиться

замечательный роман и его непременно перевели бы на немецкий язык. Она даже сказала, что заранее рада, что когда-нибудь прочтет его.

По-прежнему сверкали молнии и грохотал гром, дождь не ослабевал ни на минуту, но рассказанная мною история родила столько мыслей, что я не мог начать новую. Я вообще не мог работать сразу над двумя романами, для меня это было неприемлемо.

Мы сидели и обсуждали подробности моего рассказа. Я постарался, чтобы у Беаты создалось впечатление, что она дает мне ценные советы и я, если действительно напишу этот роман, непременно ими воспользуюсь. Она крепче прижалась ко мне, вложила свою руку в мою и несколько раз поцеловала меня в ямку на шее. Наверное, я первый потерял голову, но она не оттолкнула меня.

— По-моему, с нашей стороны это хулиганство, — прошептала она и сбросила с себя всю одежду.

В синеватом свете грозы она напомнила мне «Обнаженную» Магритта. Мы осторожно опустились на каменный пол мельницы.

Выбора у нас не было. Мы оказались беззащитны перед стихией. Откажись мы любить друг друга в такую грозу, в такую бурю, это было бы ханжеством. Как будто мы воспротивились велению природы. Отказали ей в праве быть самой собой.

Мы лежали, прижавшись друг к другу, пока не перестал грохотать гром. От Беаты пахло сливами и черешней, нам не нужно было говорить друг с другом. Лишь когда дождь перестал, она приподнялась и сказала:

— Давай примем душ!

Странная девушка, ведь душ небесный был уже закрыт, однако она вскочила и потянула меня за собой. Не одеваясь, мы побежали по тропинке, было

не холодно. Беата тянула меня к водопаду, она напомнила мне о моем обещании. Через несколько минут мы уже стояли под водяными струями и пели. Начала Беата. Она пела «Мольбу Тоски», мне этот выбор показался странным, и я ответил арией Каварадосси в башне, которая лучше подходила к этой минуте. Но она продолжала свое: «Perché? Perché, Signore?»³² Мне нравилось, что она знает оперную классику. Меня это не удивило, но пришлось по душе. Не знаю почему, но я вдруг запел старую детскую песенку, может быть, потому, что был счастлив. Я не вспоминал этой песенки с самого детства:

*Крошка Петтер Паучок
Потерял свой башмачок.
Солнце скрылось, хлынул дождь,
Разошелся во всю мощь.*

*Под дождем свой башмачок
Ищет Петтер Паучок.
Дождь прошел, и день прошел.
Башмачка он не нашел.*

Мы бегом вернулись к руинам и оделись. А когда снова вышли на тропинку, уже всюду светило солнце. Мы не испытывали ни малейшего смущения. Мне, правда, было немного неловко за то, что я спел старую песенку о Петтере Паучке. К счастью, Беата не спросила, что я пел, и, может быть, вообще не слушала, но я жалел о своей неосмотрительности. Я еще раз мысленно вернулся на пьяцца Маджоре в Болонью.

³² Почему? Почему, Господи? (ит.)

Мы перешли через реку и начали карабкаться по крутому склону, вот тут Беате оченьгодились ее кроссовки. Через час мы были уже на смотровой площадке, которая называлась Лючибелло. Отсюда нам был виден Амальфи и большая часть Соррентского полуострова. Беата набрала пышный букет ледвенца и протянула его мне.

— Пожалуйста, — сказала она, — это пасхальный цветок.

Я объяснил, что на некоторых языках этот желтый горошек называют золотыми башмачками Марии, а по-английски — детскими башмачками, прибавил я и показал ей почему.

Мы начали спускаться к Поджероле, в одной руке я нес букет ледвенца, другой поддерживал Беату. Беата заметила, что мы могли бы пожениться и нарожать детей. Это было сказано бездумно, но мне стало приятно. Серьезности в ее словах было не больше, чем во вчерашнем приглашении искупаться под водопадом. Я обронил, что собираюсь пригласить ее с собой на Тихий океан. Беата только взглянула на меня и засмеялась. Но я, во всяком случае, уже сообщил ей об этом.

В Поджероле мы зашли в бар и заказали сэндвичи и бутылку белого вина. Потом сели за столик и, наслаждаясь открывшимся видом, пили кофе, лимончелло и бренди. Мне дали вазу с водой для моего букета.

Когда мы стали спускаться по крутой каменной лестнице к Амальфи, Беата сказала:

— Значит, ты пишешь романы? А еще ты сказал, что работаешь в издательстве. Не слишком ли ты много работаешь?

Это был уже не пустой разговор. Теперь ей хотелось узнать, кто я на самом деле.

Я решил открыть ей столько, чтобы она поняла, что я и есть тот самый Паук, если она вообще слышала о таком феномене. И объяснил, что помогаю некоторым писателям работать над книгами, подсказываю им иногда интересные идеи и даже готов снабжать их набросками, которые могут лечь в основу их произведений. У меня воображения больше, чем требуется одному человеку, признался я, это дешевое сырье. Так и сказал: воображение — это дешевое сырье.

Беата по-своему реагировала на мои слова, сомнений у меня не было, она ответила молчанием и задумчивостью. Это можно было толковать по-разному. Или она узнала во мне Паука и была сообщницей заговорщиков. Или все-таки читала ту короткую заметку в «Коррьере делла сера», ведь она сама сказала, что каждому, кто хочет быть в курсе всех событий, необходимо читать именно эту газету, и особый упор сделала на страницы, посвященные культуре. А может, ее реакция вообще никак не была связана с Пауком. Может, Беата таким образом реагировала на мою довольно необычную роль в литературном процессе.

Я немного рассказал ей о фантазии и «Помощи писателям». Слушая меня, она встряхивала головой, словно все глубже и глубже погружалась в задумчивость. И тут я принял радикальное решение. Предложил ей прочитать то, что написал, уже живя здесь, в отеле, сказал, что мог бы перевести это для нее на немецкий. Я не хотел иметь от нее никаких тайн, моему молчанию следовало положить конец. Снова мне пришла в голову мысль, что мы с ней могли бы уехать и поселиться где-нибудь на другом континенте, может, нам обоим было от чего бежать, хотя она и задумала провести все лето в Южной Италии. Про себя я решил, что попробую остаток дней прожить

как порядочный человек. У меня была только одна жизнь, и я не торопил ее конец.

Было шесть часов. Ноги плоховато меня слушались — и от выпитого вина, и от долгой дороги. Мы решили устроиться на мысе и оттуда любоваться закатом. Беата почти все время молчала, но вскоре я завел новую историю. Рассказывая, я почти не смотрел на нее, возможно, потому, что рассказ рождался на ходу. Всех деталей я не помню, но суть его была в следующем.

Давным-давно в городе Ульме на Дунае стоял большой цирк. Директор цирка, красавец мужчина, был по уши влюблен в прелестную гимнастку, выступавшую на трапеции, ее звали Терри. Он посватался к ней, и через год у них родилась дочка, которую называли Панина Манина. Маленькая семья была счастлива в своей розовой цирковой повозке, но счастье длилось недолго, уже через год после рождения дочери Терри упала с трапеции и скончалась на месте. Долгое время директор цирка горевал об умершей жене, вместе с тем он все больше привязывался к подрастающей дочери. Он был рад, что Терри успела подарить ему ребенка до того, как погибла. Все дни он хранил живую память о былой любви, тем более что его дочь, вырастая, все больше становилась похожей на мать. С тех пор как девочке исполнилось полтора года, она каждый вечер сидела в цирке на лучших местах и следила за представлением. В перерывах клоуны угощали ее леденцами на палочке, и уже с трех лет Панина Манина приходила на свое место и уходила оттуда без провожатых. И публика, и артисты вскоре стали называть ее талисманом цирка, и, случалось, люди приходили в цирк только ради того, чтобы взглянуть

на Панину Манину, потому что каждый вечер она удивляла их новым зрелищем — никогда нельзя было сказать заранее, что ей придет в голову. Таким образом, публика за один билет смотрела сразу два представления — обычную цирковую программу и номера Панины Манины. Нередко случалось, что девочка перелезала через барьер на манеж и принимала участие в аттракционах, ей это разрешалось. Директору цирка было так жаль бедную малышку, которая рано лишилась матери, что он старался доставить ей столько радости, сколько был в силах. Такие экстраординарные выступления всегда происходили неожиданно, девочка вдруг вмешивалась в клоунаду или выбегала на манеж между двумя выходами и устраивала свое небольшое представление, иногда с мячом, который она брала у морского льва, или с кеглями, позаимствованными у жонглеров, или даже с обручем, маленьким трамплином, или забавным водяным пистолетом, найденным ею на складе реквизита. Публика всегда награждала Панину Манину бурными аплодисментами и ожидала от нее больше, чем от знаменитых артистов, перечисленных в программе.

Только русский клоун Петр Ильич был недоволен таким поворотом дел. Ему не нравилось, что Панина Манина вмешивается в его номер, и уж совсем никуда не годилось, что на ее долю выпадало больше аплодисментов. Он решил положить этому конец и в один прекрасный день похитил ее — это случилось во время антракта. Как обычно, Панина Манина подошла к клоуну, когда он стоял возле палатки и продавал леденцы на палочке, но в этот день клоун сговорился со своей женой, тоже русской, которая приехала в город. Ее звали Марьюшка. Петр Ильич

заплатил ей, чтобы она увезла Панину Манину с собой в Россию. Так получилось, что несчастная девочка выросла в бедном крестьянском доме в маленькой деревушке на краю русской тундры. Жена клоуна хорошо относилась к девочке, ей всегда хотелось иметь дочку, однако малышка так тосковала по отцу и по жизни в цирке, что целый год каждую ночь плакала во сне. В конце концов она забыла причину своих слез и все-таки продолжала плакать, потому что по-прежнему грустила, только теперь она не помнила причины своей грусти. У нее не осталось никаких воспоминаний о цирке, она забыла запах опилок и забыла, что в далекой-далекой стране у нее есть отец.

Панина Манина росла и делалась все красивее, с годами она стала самой красивой девушкой к востоку от Урала. В России тогда господствовал Сталин, но ее приемная мать была уважаемым членом коммунистической партии, и в один прекрасный день Панина Манина уехала в Москву и два года работала моделью у самого знаменитого модельера Советского Союза. Случаю — а эта история о случайностях — было угодно, чтобы однажды летом она поехала в Мюнхен, откуда уже совсем близко до Ульма. В то время цирк ее отца гастролировал в Мюнхене, и, осматривая баварскую столицу, Панина Манина неожиданно увидела большой шатер цирка-шапито. Она подошла поближе, ее как будто что-то притягивало к нему, но девушка по-прежнему не помнила, что когда-то была настоящей циркачкой, тем более что теперь цирк находился в другом городе. Где-то в глубине ее души, должно быть, все-таки сохранилось воспоминание о манеже, парадах, клоунах, бестрашных наездниках и дрессированных морских львах. Перед цирком толпился народ — до вечернего

представления оставалось совсем мало времени. Панина Манина подошла к кассе и купила билет на самое лучшее место, какое было, — не зря она приехала так далеко — для русской девушки представление настоящего цирка в Мюнхене было целым событием. Под большим навесом по пути в шатер она купила себе сахарную вату, и многим, наверное, показалось странным, что элегантная красавица в первом ряду лижет сладкую розовую вату, но Панина Манина твердо решила насладиться лакомством, которое было в диковинку там, откуда она приехала. Начался парад-алле, на манеж вышли все артисты, а потом, сменяя друг друга, выступали воздушные гимнасты, клоуны, жонглеры, дрессированные лошади и слоны. Во время короткого промежутка между двумя номерами случилось нечто невероятное. Панина Манина, неожиданно потеряв над собой контроль, перепрыгнула через барьер и выбежала на манеж с сахарной ватой в одной руке и модной широкополой шляпой в другой. Она начала прыгать и танцевать, но совсем не так, как это делают взрослые танцовщицы, девушка неуклюже подскакивала и кружилась, словно ребенок, неожиданно оказавшийся на манеже. Сперва публика разразилась громким смехом, решив, что это клоунада. Но потом жители Мюнхена, славившиеся своей нетерпимостью, подумали, что дама с шляпой и сахарной ватой просто сумасшедшая, или пьяная, или даже наркоманка. Они начали свистеть, чтобы прогнать ее с манежа. Еще несколько минут Панина Манина пребывала в экстазе и вдруг увидела перед оркестром красивого мужчину с хлыстом в руке. Это был сам директор цирка. Панина Манина рухнула на посыпанный опилками пол и горько зарыдала, потому что вдруг поняла всю нелепость

своего поведения. В то же мгновение директор цирка сообразил, что эта рыдающая женщина — его дочь. Он подбежал к ней через манеж, она подняла на него глаза, и только теперь, только теперь Панина Манина вспомнила, что она дочь директора цирка, ибо кровь гуще, чем вода. Директор цирка решил тут же отменить представление. Он посмотрел на дирижера и попросил сыграть мелодию «Улыбка» из фильма Чаплина «Новые времена». А потом отправил зрителей по домам. Он думал, что его карьера кончена, потому что мюнхенская публика редко прощает подобные оплошности, но все равно был счастлив. Он нашел свою дочь, это был его самый главный цирковой номер, и теперь он хотел прожить остаток жизни вместе с нею.

На протяжении всего рассказа Беата не проронила ни слова, она была словно парализована, и, когда я, умолкнув, взглянул на нее, лицо ее выражало печаль. Я попытался развеселить Беату, напомнив, что конец у сказки все-таки счастливый, но она оставалась такой же подавленной. В начале рассказа она держала меня за руку, но потом отдернула свою ладонь. Меня удивило, что на нее так подействовала моя сказка.

Она замкнулась и сидела крепко сжав губы, потом наконец спросила, сколько мне лет. Я сказал, что сорок восемь.

— Точно сорок восемь? — спросила она холодным тоном.

Я не понимал, какое значение имеют несколько месяцев, но, быть может, она увлекалась астрологией? Я пояснил, что родился под созвездием Льва и что в конце июля мне исполнилось сорок восемь лет.

Мы начали спускаться к городу. Она была сдержанна и даже казалась обиженной.

— Наверное, ты надеялась, что я моложе?

Она только хмыкнула и покачала головой. Потом сообщила, что ей двадцать девять лет, и я вспомнил, что столько же было Марии в то лето семидесятого года. Время как будто остановилось, Мария вернулась ко мне. На Пасху Мария воскресла из мертвых. Мне было соблазнительно так думать.

Настроение у Беаты совершенно изменилось. Конечно, никакая она не заговорщица, решил я, но, должно быть, слышала про Паука. Она тоже имеет отношение к книжному делу, к тому же внизу, в долине, она призналась мне, что сама начала писать книги, и, наверное, то, что ей рассказывали о Пауке, было малопривлекательным. Не исключено, что она дочь какого-нибудь писателя, которому я в свое время помог, я даже вспомнил, что один мой подопечный жил в Мюнхене, ему было лет пятьдесят пять, и я ничего не знал о его семье.

Положение становилось неприятным, оно обострилось, но я был уверен, что мы преодолеем ее настроение, как только я пойму, в чем дело. Мне и раньше не раз случалось улаживать неприятности. Беата говорила, что ее мать умерла скоропостижно несколько месяцев назад и что она была сильно привязана к матери. Ничего удивительного, что ее настроение так неустойчиво. Я и сам когда-то тяжело переживал смерть матери.

Мы прошли мимо усадьбы, где лаяли две собаки. В грязной клетке надоедливо гоготали гуси. Не доходя последней лестницы, спускавшейся к главной дороге, Беата остановилась и посмотрела на меня.

— Ты не должен был рассказывать мне эту сказку! — проговорила она и заплакала. Я хотел утешить ее, но она меня оттолкнула.

— Неужели она так на тебя подействовала? — спросил я.

Беата повторила:

— Ты не должен был рассказывать мне эту сказку! Это было глупо, страшно глупо!

Она посмотрела на меня, отвела глаза, а потом снова остановила на мне свой взгляд. Как будто перед ней стояло привидение. Она была явно напугана, и напугал ее я.

Я ничего не понимал. Мне нравились женщины, которых я не понимал, но сейчас в этом не было ничего приятного. Должно быть, я коснулся уязвимого места. Может, она отождествила себя с дочерью директора цирка? Ведь я ничего не знал о ее прошлом. Редко мой рассказ производил на кого-нибудь такое сильное впечатление, этот долгий день оказался богат сильными впечатлениями.

Вдруг она снова взглянула на меня, глаза у нее сверкнули.

— Нам следует забыть эту встречу! — выпалила она. — Мы никому не должны говорить о ней, никому!

Я не понял ее горячности. В моей жизни уже бывало, что после идиллии неожиданно наступало раскаяние, я объяснял это особенностями женской психики, но тут было что-то другое. Беата не из тех, кто стыдится, позволив грозе заглушить голос осторожности. Если бы она и в самом деле раскаивалась, она бы и виду не подавала, во всяком случае, не стала бы ни в чем обвинять меня. Я встретил в Амальфи отнюдь не Мэри-Энн Мак-Кензи.

Беата продолжала плакать.

— Мы должны обо всем забыть, — твердила она. — Понимаешь? Мы должны обещать друг другу, что никогда больше не встретимся, никогда!

Я молчал.

— Неужели ты ничего не понимаешь? Не понимаешь, что ты просто чудовище?

Во мне проснулся страх. Может, я и был чудовищем, эта мысль не поразила меня. Мне померещилось, что все мои сюжеты и семейные хроники не что иное, как танго на собственных похоронах, которое я танцевал с испуганной душой.

Было что-то, чего я не помнил, что-то большое и мрачное, что я забыл...

Беата перестала плакать. Она была смелая и не относилась к тем, кто хнычет на публику. Теперь она стала жесткой и холодной. Я не узнавал ее, я не понимал, что за крест она несет, и отныне мне было уже не проникнуть сквозь ее панцирь.

— Мне страшно, — произнесла она. — Страшно за нас обоих.

Очевидно, в этом был ключ к разгадке. Значит, она знала о планах по моему устранению, только не сразу поняла, что я и есть тот самый Паук. Догадалась лишь после моего признания, что я помогал некоторым писателям. Она осознала это, когда я рассказал ей длинную историю о дочери директора цирка, и окончательно укрепилась в своей догадке, когда я сообщил ей, сколько мне лет. Она смотрела в глаза Паука, их было не два, а множество. Это испугало ее. Она знала, что Паук — чудовище, однако позволила этому чудовищу соблазнить себя и только потом идентифицировала его. Ей было известно о планах убить меня, и теперь она опасалась за нас обоих.

Мы миновали полицейский участок и молча шли через город. Перед окнами, на маленьких балкончиках и карнизах, сохло белье амальфийцев — майки и бюстгалтеры покачивались на слабом ветерке, подобно флажкам на семафорах, подающих сигналы из нормальной жизни. Теперь мне виделось какое-то обещание в этих буднях, но Беата все ускоряла шаг, я с трудом поспевал за ней, и она не остановилась, пока не дошла до берега. Я не знал, где она живет, но здесь наши дороги обычно расходились.

Я коснулся рукой ее спины, и она сразу будто окаменела.

— Я не понимаю... — сказал я.

— Конечно, не понимаешь, — откликнулась она. — Я тоже не могу сказать, что все понимаю.

— И мы никогда больше не встретимся? — спросил я.

— Никогда, — ответила она и прибавила: — Может, одному из нас следует умереть. Это ты понимаешь?

Я покачал головой. Она была совершенно не в себе. Я снова вспомнил Мэри-Энн Мак-Кензи. Я не понимал, что пробудил к жизни.

— Значит, никогда? — повторил я.

Но она вдруг одумалась, потому что сказала:

— Может, мы должны будем встретиться. Не исключено, что завтра утром, но это будет уже в последний раз.

Она произнесла это так холодно, что я испугался.

— Прекрасно, — буркнул я. — Может, пообедаем завтра в моем отеле?

Она отрицательно помотала головой. Ее переполняла горечь.

— Мы просто погуляем, — сказала она.

— И все?

— Можем подняться на перевал... в Равелло.

Я слышал о Равелло. Там, высоко в горах, на старинной вилле, Вагнер сочинил своего «Парсифаля». Вскоре он умер. Это был его последний опус.

Больше я не пытался вызвать Беату на откровенность, это было бесполезно. И у меня тоже уже не осталось сил. К своему стыду, я когда-то не смог сказать ни слова на похоронах матери. Потом я запутался в лабиринте, это был мой собственный лабиринт, моя собственная тюрьма. Я сам построил ловушку и теперь не знал, как мне из нее выбраться.

— Я прожил пустую и убогую жизнь, — признался я. — Ты единственная, кто мне по-настоящему дорог, единственная, кого я люблю.

Она снова зарыдала. Люди стали на нас оглядываться.

У меня в голове мелькнула одна мысль, может, она и была спасительной соломинкой?

— Вчера ты обещала, что расскажешь мне о своем отце. Помнишь?

Она вздрогнула. Потом, подумав, произнесла:

— Я сказала уже достаточно.

На мгновение она прильнула ко мне, прижавшись головой к ямке на шее, так щенок прижимается к матери, потому что мир кажется ему слишком большим. После всех слез и смены настроения меня опять захлестнула волна нежности. Я обнял ее и поцеловал в лоб, но тут она внезапно отпрянула от меня и залепила мне сильную пощечину, сперва одну, потом вторую. Она не рассердилась, но и не улыбалась. Она просто вырвалась из моих рук и исчезла.

* * *

Обедать я не стал, не мог даже подумать о том, чтобы войти в обеденный зал, но, к счастью, у меня в номере

нашлись пачка печенья и пакет арахиса. Я сел к письменному столу и продолжил рассказ о своей жизни, это был способ собраться с мыслями и немного успокоиться. Я писал о встрече с Беатой в Амальфи и наших прогулках в Понтоне и Поджеролу.

Я просидел очень долго, было уже два часа ночи. Некоторое время я постоял у окна, глядя вниз на море, на волны, бьющиеся о Сарацинскую башню. Маленький человечек продолжает бродить по моей комнате. Размахивая на ходу бамбуковой тростью, он произносит: «Кыш! Кыш!» Я пытаюсь не обращать на него внимания, но его тревога невольно передается и мне.

Уже половина третьего. Я снова припомнил все, что случилось в последние дни, и особенно то, как вела себя Беата сегодня вечером. Меня знобит.

Три часа. Меня вдруг поразила страшная мысль. У меня такое чувство, будто я совершил убийство, будто проснулся после того, как, пьяный, задавил ребенка. Меня трясет, я задыхаюсь. Может быть, это воображение сыграло со мной злую шутку? Я пытаюсь записать все свои мысли, но у меня дрожат руки. Она сказала, что ее мать внезапно умерла на празднике в честь дня ее рождения, и всего через несколько недель я встретил Беату в Амальфи.

Так не годится, опять у меня разыгралось воображение. Сердце колотится как бешеное. Я вышел в ванную и выпил воды из-под крана, но удушье по-прежнему не отпускает меня.

Что она имела в виду, сказав, что я чудовище? Связано ли это с «Помощью писателям»? Или причина в другом? Я не смею додумать до конца эту мысль. Я никогда не осмеливался окончить один из моих набросков, обрывая его на полуслове. Это превосходило все мои фантазии.

Почему мы больше не можем видеться? Она не стала ничего объяснять, но намекнула, что один из нас должен умереть. Я списал это на истерику. И попросил рассказать об отце только для того, чтобы выиграть время, но она вся сжалась и ответила, что сказала уже достаточно.

Меня мучит удушье, но мое недомогание вызвано не мыслями о Беате и не нашими объятиями в Мельничной долине. Я отвратителен сам себе, причина моей болезни во мне самом.

Я опять выходил в ванную и пил воду. Потом долго смотрел на себя в зеркало. Мне пришлось подавлять тошноту, чтобы меня не вырвало прямо в раковину. У меня тоже высокие скулы. И мои глаза тоже похожи на глаза моей матери.

Четыре часа. Я весь в холодном поту. Моя жизнь рухнула, от меня остался только скелет, обтянутый кожей.

Все мои надежды на будущее были связаны с Беатой, теперь от них ничего не осталось.

Она словно окаменела, когда я закончил свою повесть о дочери директора цирка. И заметила, что мне не следовало рассказывать ей эту историю, что это было глупо, непростительно глупо. Она не сказала, что уже слышала ее раньше, но, возможно, имела в виду, что я не должен был рассказывать о дочери директора цирка в тот раз, много-много лет назад. Если она сама забыла эту историю, мать, безусловно, напомнила ей о странном человеке, который надевал на нее платице и рассказывал о маленькой девочке, заблудившейся и потерявшей своего отца в глухих шведских лесах.

Марии нет больше в живых. Бедная Мария, она умерла девятнадцатого февраля в день своего

пятидесятивосьмилетия. Она не болела, но ей не было смысла жить дальше. Ей шел двадцать девятый год, когда мы зачали Беату, а теперь двадцать девять лет исполнилось самой Беате, это не может быть случайностью.

Марии суждено было жить, пока ее дочери не стукнет столько же, сколько было самой Марии, когда она так легкомысленно позволила себе забеременеть от Паука. Из-за этого и она, и дочь должны были понести возмездие, это так же логично, как неминуемая кара позором. Из-за этого и я должен пережить унижение. Таким образом, мы трое воссоединились в позоре и бесчестье. Я уже давно знал, что черные эльфы и ангелы смерти часто действуют заодно.

Может быть, завтра утром я услышу подробности о Вильгельмине Виттманн. Но мне уже ясно, что за этим забавным псевдонимом должна скрываться Беата. Это и есть ее тайна.

Мария слышала от меня много историй, которыми могла поделиться с дочерью за те долгие годы, что они жили вместе. Может быть, некоторые из них рассказывались на сон грядущий, ведь были среди них и сказки со счастливым концом. Через какое-то время мои сюжеты обрели самостоятельность и ушли от меня, а теперь и Беата воспользовалась ими, написав сперва «Тайну шахмат», а потом «Тройное убийство post mortem». Мария не давала о себе знать, пока ее дочь не выросла и не взялась за перо.

Беата застенчалась, признавшись, что тоже пишет, а мне, как никому другому, было известно, что скрывается за такой застенчивостью. Я должен был догадаться... Ничего удивительного, что человек чувствует смущение, выдавая чужую историю за свою собственную.

«Тройное убийство *post mortem*». Я вздрогнул от страха перед собственной выдумкой. В некотором смысле весь треугольник уже испытал на себе удар смертельного хлыста. Но двое из нас еще живы, а вместе с Метром — трое.

Я должен был спросить разрешения на то, чтобы поднять бедную циркачку, рухнувшую на манеж. Она упала на опилки, и директор цирка надругался над ней. После стольких лет, прожитых за границей, она вернулась к своему отцу, но он не сумел прочитать знаки судьбы и надругался над ней. Он уже сбежал из книжного цирка в Болонье. Больше там представлений не предвиделось.

Через несколько часов я, быть может, услышу историю о матери и ее трехлетней дочке, которые некоторое время жили в Швеции, но потом переехали в Германию. А может, они никогда и не жили в Швеции, может, дочь директора цирка родилась в Германии, ведь там тогда жили родители Марии, я и это тоже забыл.

Беда заключалась в том, что мне никто ничего не сообщил. Для Марии оказалась роковой попытка вырваться из чудовищной паутины, спасаясь от Паука. Мне было не положено даже знать имени ее дочери, это была роковая ошибка. Каждый отец должен знать имя своего ребенка.

Другую ошибку, уже позднее, допустил я сам, слепо поверив болтовне Луиджи о заговоре оскорбленных писателей. Потому и не представился Беате как следует. Мысль о том, что я когда-нибудь снова встречу Золотко, не приходила мне в голову. Я никогда не представлял себе эту девочку взрослой женщиной и едва ли задумывался о том, сколько ей сейчас лет.

Ночь, но я по-прежнему слышу шум мотороллера, разъезжающего по берегу. Некоторое время я стоял у окна — смотрел на огни теплохода, плывущего вдалеке, иногда они пропадали между волнами, но потом снова выныривали. Луна на ущербе, от нее осталась только половина, но все-таки она отбрасывает на поверхность воды широкую серебряную дорожку.

Я снова сел к письменному столу. Сижу и смотрю на идиотскую круглую вешалку в спальне — она похожа на птичье пугало и заставляет меня чувствовать себя птенцом.

У меня нет иных желаний, кроме желания быть человеком. Я хочу смотреть на птиц, на деревья, слушать, как смеются дети. Хочу жить в этом мире, отказаться от всех фантазий и просто жить. Прежде всего мне следует вымолить нечто столь естественное, как право быть отцом собственной дочери. Может, она найдет другой выход, а не просто оборвет со мной всякую связь? Хотя мне было бы нетрудно ее понять. Я виноват, но разве нет небольшой разницы между объективной и субъективной виной? Я провинился перед нею не намеренно, у меня не было дурного умысла.

Пять часов. У меня уже нет сил. Но это неважно, защищать мне больше нечего.

Лед начал давать трещины, и под его поверхностью появляется холодная темная глубина. На нем больше нельзя выписывать пируэты. Отныне я должен научиться плавать на глубине.

Метр стоит перед камином, лицо его почти торжественно. В первый раз он положил тросточку себе на плечо, словно несет тяжелую ношу. Он смотрит на меня и спрашивает: «И что дальше? Что мы теперь вспомним?»

Но мне кажется немыслимым вспомнить во всех подробностях то, что произошло, когда мне было всего три года. Я смотрю на маленького человечка и говорю: «Мне не передать это словами». Я забыл язык, на котором говорил тогда. Маленький мальчик зовет ко мне на языке, которого я больше не понимаю.

Метр спрашивает: «Но ты что-нибудь помнишь?»

Это похоже на фильм, говорю я. Всего несколько метров пленки.

«Тогда давай сделаем набросок сценария для этого короткого фильма», — говорит Метр.

Я глотаю слюну. «Но это будет самый последний набросок», — думаю я и начинаю стучать по клавишам.

Осло в середине пятидесятих годов, осень. Трехлетний Петтер живет в современном доходном доме вместе с мамой и папой. Папа работает в трамвайном депо в Грефсен, а мама — на полставки в ратуше.

Картина семейной идиллии, пятнадцать секунд: пикник на берегу Согнсванна, воскресная прогулка на Уллеволсетере и т. д. Смена плана: мать и отец знакомятся с новым соседом с первого этажа. У него есть большой лабрадор.

Раннее утро: отец и Петтер уже в пальто стоят в прихожей. Мать (в халате) выходит из кухни и протягивает каждому пакет с завтраком. Она засовывает пакет Петтера в синий детский рюкзачок, который уже висит у него на плече, и затягивает шнурок. Она дурачится с Петтером, садится на корточки и целует его в щеку. Потом встает, целует отца в губы и желает ему хорошего дня. Отец с Петтером сидят в автобусе. Петтер спрашивает, почему должен ходить в детский сад. Отец

отвечает, что у каждого есть свои обязанности: он ходит на работу и следит, чтобы все трамваи были в исправности, а мама пойдет в прачечную, выстирает белье, а кроме того, зайдет к парикмахеру. У Петтера свои обязанности. Его дело — ходить в детский сад и играть там с другими детьми. Задумавшись на минуту, отец говорит сыну, что игры детей не менее важны, чем работа взрослых.

Они приходят в детский сад, но там на двери висит записка, что сад закрыт, потому что обе воспитательницы заболели. Отец читает эту записку вслух Петтеру. Потом берет сына за руку и говорит, что должен отвести его домой к маме. Они заходят в гастроном, покупают свежие булочки, нарезанный сервелат (который заворачивают в пергамент), упаковку огурцов и сто граммов итальянского салата. Отец говорит, что у него нет времени съесть этот лакомый завтрак — это для Петтера и мамы.

Они снова садятся в автобус. Оба в отличном настроении. Петтер прижимается лицом к окну и смотрит на людей, автомобили (один из них такси), велосипеды и катки для трамбовки асфальта, вообще на весь огромный мир, в котором живет его семья. На автобусной остановке отец начинает насвистывать мелодию «Улыбка» из чаплинского фильма «Новые времена».

Они поднимаются по лестнице. Петтер радуется, что вернется домой к матери. Отец отпирает дверь квартиры. Мать выбегает из гостиной, она очень испугана, держит перед собой халат, она почти голая. Паника.

Обзор с высоты Петтера (это чуть больше метра): отец и мать кричат друг на друга, говорят всякие страшные вещи. Петтер тоже кричит, кричит,

чтобы заглушить голоса взрослых. Он убегает в гостиную, там с ковра встает новый сосед, он тоже голый, его одежда валяется на персидском пуфике перед полкой со старым приемником «Радионетте», но он прикрывается нотами (к примеру, антологией «Опера без слов»).

Сцена из немого фильма (обзор с высоты Петтера): крики, шум, но слов не разобрать. Мать и отец входят в гостиную. Отец дает матери пощечину, она падает и разбивает голову о старое белое пианино. Из рта у нее течет кровь. Сосед пытается вмешаться, но отец срывает со стены телефон и швыряет соседу в лицо, тот хватается за нос. Все кричат и плачут, Петтер тоже. Единственное, что можно иногда разобрать, это ругательства. Петтер пытается перекрыть голоса взрослых, выкрикивая самые страшные ругательства, какие знает.

Потом начинает плакать. Он выбегает на лестницу, спускается на первый этаж, выскакивает во двор и звонит во все звонки, крича: «ПОЛИЦИЯ! ПОЖАРНЫЕ! СКОРАЯ ПОМОЩЬ! ПОЛИЦИЯ! ПОЖАРНЫЕ! СКОРАЯ ПОМОЩЬ!»

Возвращается в подъезд и спускается в подвал. Над дверью подвала надпись: «Бомбоубежище», зеленые светящиеся буквы. Петтер отворяет дверь и прячется в подвале за велосипедами. И сидит тихо-тихо.

Он по-прежнему сидит за велосипедами. Прошло уже много времени.

Мать спускается в подвал и находит Петтера. Оба горько плачут.

Больше мальчик ничего не помнит, и я не могу на него давить. Я не совсем уверен, все ли из того, что он видел, случилось на самом деле.

Метр бросил на пол свою трость или просто навсегда от нее отказался, потому что поднимать ее он не стал. Он стоит и смотрит на меня грустным, почти мрачным взглядом. Потом произносит: «И хватит с меня!»

Через мгновение он исчезает, и я знаю, что больше уже никогда его не увижу.

Пол в номере выложен керамической плиткой, красной и оливково-зеленой, в шахматном порядке. Я начинаю считать плитки.

И обращаю внимание на квадрат из четырех плиток в самой середине комнаты, они как будто вспухли и теснят все остальные, но на глаз в длину все плитки кажутся одинаковыми. Я выделяю девять плиток — три на три, теперь их девять. Унылая картина. Что вообще могут рассказать мне девять керамических плиток? Я выделяю квадрат из шестнадцати плиток, теперь каждая плитка занимает более высокое положение, они этого не знают, но я знаю. Впрочем, это не имеет значения, потому что я уже выделил квадрат из двадцати пяти плиток. На пяти верхних плитках я пишу: Б-Е-А-Т-А. Я пытаюсь создать магический квадрат из пяти букв с каждой стороны, потом пишу: М-А-Р-И-Я, но обе части такие сложные, что я решаю все отложить, сейчас у меня на это нет времени.

Пол большой, и мне нетрудно выделить на нем квадрат из тридцати шести плиток, достаточно только отшвырнуть в сторону пару башмаков. Эти тридцать шесть плиток принадлежат отелю, но высший смысл принадлежит мне. Не думаю, что прежние постояльцы обращали внимание на эти гармоничные квадраты, это я вложил в них высокий смысл, поднял их в царство духа и внимания. Высший смысл

не лежит на полу, он скрыт у меня в голове. Эти тридцать шесть плиток получают воображаемую рамку, образованную моей душой, я не скуплюсь, ведя им счет. Я скольжу по ним взглядом, по вертикали, горизонтали и диагонали. Плитки не знают, что мои глаза скользят по ним. Я сосредоточиваю внимание на плитке номер тринадцать, это первая плитка в третьем ряду. В правом нижнем углу у нее имеется небольшой скол, но огорчаться не стоит, думаю я, едва ли здесь найдется хоть одна плитка, в которой не было бы никакого изъяна. Плитки лежат на спине носом вверх, они не могут видеть друг друга, они покрывают весь пол, но им нет нужды замечать друг друга, сейчас они смотрят только на меня, и я изучаю их одну за другой. Если я разделю плитку номер тринадцать по диагонали на две равные части, то получу два прямоугольных треугольника, они, конечно, равносторонние, но я не пошевелил и пальцем, я не из тех, кто ломает гостиничный инвентарь, хотя если я буду смотреть на эту плитку достаточно долго, пожалуй, она сама расколется под моим взглядом. Я снова сосредоточиваю внимание на квадрате размером шесть плиток на шесть. «С этими тридцатью шестью керамическими плитками можно проделать что угодно, например написать по рассказу на каждой плитке, — думаю я, — это совсем просто».

Я отодвигаю стул и теперь пытаюсь сосредоточить внимание на сорока девяти плитках. Мне удастся увидеть все сорок девять плиток сразу, не моргнув; думаю, мне нужен специальный аппарат, чтобы наблюдать одновременно за всеми плитками. Особенно мне нравится этот последний квадрат, я никогда его не забуду: семь плиток на семь — это высшая правда, итог всего существования. Внутренняя суть

существования — это квадрат из сорока девяти зеленых и красных керамических плиток в пятнадцатом номере отеля «Луна Конвенто» в Амальфи. Я бросаю взгляд на круглую вешалку, но только для того, чтобы потом снова перевести его на пол. И снова перед моими глазами квадрат, разумеется, он не сдвинулся ни на миллиметр, потому что сама эта форма уже намертво закрепилась в моем сознании. Он не лежит на полу, но создается тем, кто на него смотрит. Если я когда-нибудь попаду в тюрьму, мне там будет не скучно, пока я смогу думать о квадрате из сорока девяти плиток. Я повидал мир. Если провести невидимую диагональ из верхнего правого угла, то есть из угла плитки номер семь, вниз к плитке номер сорок три, у меня опять окажется два прямоугольных треугольника. Я уже говорил об этом, это то же самое, что разделить по диагонали одну плитку, поскольку квадрат есть и остается квадратом. У каждого треугольника будет по два катета длиной в семь плиток. Сумма квадратов двух катетов составляет в длину девяносто восемь плиток, но я не в состоянии извлечь квадратный корень из девяноста восьми. Я достал из планшетки маленький калькулятор: квадратный корень равняется 9,8994949. Таким образом, гипотенуза обоих прямоугольных треугольников будет равняться 9,8994949 длины одной плитки. Теперь мы это знаем, но мне кажется странным, что диагональ квадрата, состоящего из семи плиток, помноженных на семь, представляет собой такое отвратительное число. Это все равно что удар с тыла, но хаос всегда обладал способностью уничтожать космос изнутри. Однако что-то у меня не сходится, между плитками как будто мелькает что-то призрачное, и я не могу разделить сорок девять плиток на два. Как же тогда

получается, что половина плиток — красные, а половина — зеленые? В голове у меня все смешалось, я начинаю сомневаться в собственном рассудке.

Меня пугает еще более высокий порядок, квадрат из шестидесяти четырех плиток. Мне пришлось немного сдвинуть письменный стол Ибсена, он оказался очень тяжелым, к тому же разразилась непогода, и все это глубокой ночью. Восемь на восемь будет шестьдесят четыре, в этом нет никакого сомнения, теперь квадрат состоит из тридцати двух красных и тридцати двух зеленых клеток, наконец-то я, не шевельнув пальцем, добился совершенной гармонии, я восстановил всеобщее равновесие между зеленым и красным, красным и зеленым. К тому же теперь я могу играть в шахматы, наверное, в этом и был высший смысл, чтобы я начал играть в шахматы. Я наловчился играть в шахматы с самим собой без всяких фигур, это у меня всегда получалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 — это ряд. Я ставлю белые тяжелые фигуры на первый ряд: a, b, c, d, e, f, g и h. Это легко, вся доска у меня перед глазами. Я вижу все клетки поля сразу. Я передвигаю одну фигуру и тут же отчетливо вижу их все, они сделаны из черного и белого алебаstra и достаточно крупные, самые большие выше тридцати сантиметров, это король и королева.

Я белый король, и мое место в первом ряду, мне показывают красное кресло, на билете написано e1, прекрасное место, первый ряд партера, иначе и быть не могло. На большой сцене прямо передо мной стоят все пешки, меня немного раздражает этот плотный ряд пешек, они стоят слишком близко ко мне, и от них дурно пахнет, но вдали слева я вижу черную королеву, она стоит на d8, тоже на красной керамической плитке. Это хорошее место, думаю я и машу ей

левой рукой, она робко машет мне в ответ, на голове у нее корона, она блестит чистым золотом.

Фигуры занимают свои места, и игра начинается. Я делаю обычный ход, открывая короля: e2-e4; и она столь же галантно отвечает мне: e7-e5. Я выдвигаю коня, чтобы защитить пешку: b1-c3, и тут она делает неожиданный ход, она передвигает королеву с d8 на f6. Почему она так пошла? Какой напор, какая дерзость! Я передвигаю пешку с d2 на d3, чтобы защитить пешку на e4, в ответ она передвигает слона: f8-c5. Что эта дама задумала? Я тоже передвигаю слона: c3-d5 — и угрожаю королеве, чтобы заставить ее отступить. Но, когда королева делает свой ход, я уже не имею ни малейшей возможности изменить ситуацию: королева берет пешку, f6 бьет f2. Черная королева стоит ко мне вплотную и объявляет мне шах, от нее пахнут сливами и черешней, но я не могу коснуться ее, это рок. Я допустил самую большую ошибку, какую может допустить шахматист: я не видел дальше своего носа, к тому же не вел счет ходам игры. Я забыл, что у королевы есть прошлое, что она происходит из благородного рода, что ее дом заполнен шелком и у нее есть тайный слон, стоящий на диагонали c5, именно он в момент истины защитит королеву и не даст ее захватить. Мне шах и мат!

Это была короткая партия, слишком короткая. Черная королева приперла меня к стенке, и я проиграл. Я провинился, не намеренно, а по невнимательности. Мне стыдно. Таков итог, и мне стыдно. И я, всегда утверждавший, что люди лишились последнего стыда, я совершил самый постыдный поступок, какой только может совершить мужчина.

Я лег и попытался часа два поспать. Когда я открыл глаза, у меня было чувство, что наступил самый

первый или самый последний день моей жизни. Мне приснился прекрасный сон: маленькая девочка шла ко мне с большим букетом ледвенца. Это было на берегу Согнсванна или в Швеции возле одного из больших озер. Но только во сне.

Я снова сел к письменному столу, было девять часов. Я сложил свои вещи, спустился вниз и через две минуты расплатился за номер. Если мне не удастся оставить планшетку в квартире Беаты, я попрошу разрешения оставить ее в полиции, в отеле я ее в любом случае не оставляю. Я не люблю людей, которые возвращаются за брошенными вещами.

У меня такое чувство, будто я потерял важную точку опоры. Потом я вспомнил, в чем она заключалась. Где и когда я должен встретить Беату? Мы ни о чем не договорились. Но независимо от этого я должен уехать отсюда, бежать от собственного сознания.

Ноутбук останется в номере. Забыл я его там или оставил сознательно, пусть люди думают что хотят. Я стер все файлы, которые следовало стереть, но оставил те, что должны были остаться. Их много, очень много. Может, кто-нибудь воспользуется этими набросками и идеями, их должно хватить на десяток писателей, если не больше. Я могу приклеить к ноутбуку записку. Теперь он принадлежит всем писателям мира. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье, мог бы я приписать, я отдаю их совершенно бесплатно. А дальше пусть поступают как знают, меня это больше не интересует, по мне, так пусть кружатся в вальсе.

Но я передумал. Я написал: «Беате» на желтой бумажке и приклеил ее к компьютеру. У меня осталось одно-единственное желание — стать самым обычным человеком. Смотреть на птиц, на деревья и слушать, как смеются дети.

В дверь постучали.

— Минутку, — произнес я и услышал голос Беаты.

Она сказала, что ждет меня внизу в монастырском саду.

Это либо первый, либо последний день моей жизни. Не знаю, смею ли я надеяться на чудо. Я все складываю и кончаю. Все готово. Готово к самому большому прыжку.

Оглавление

Петтер Паук	13
Мария	61
Помощь писателям	105
Письмена на стене	165
Беата	195



Литературно-художественное издание

Для лиц старше 16 лет

**Юстейн Гордер
ВРЕМЯ ПАУКА**

Генеральный директор *Мария Смирнова*

Главный редактор *Антонина Галль*

Ведущий редактор *Елена Ступненкова*

Художественный редактор *Александр Андрейчук*

Издательство «Аркадия»

Телефон редакции: (812) 401-62-29

Адрес для писем: 197022, Санкт-Петербург, а/я 21

Подписано в печать 17.01.2020.

Формат издания 84×108 1/32. Печ. л. 8,0. Печать офсетная.

Тираж 3000 экз. Дата изготовления 17.02.2020. Заказ № 1917890.



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ООО «Ярославский полиграфический комбинат»
150049, Россия, Ярославль, ул. Свободы, 97

Произведено в Российской Федерации

Срок годности не ограничен

По всем вопросам, связанным с приобретением книг
издательства, обращаться в ТФ «Лабиринт»:

тел.: (495) 780-00-98

www.labirint.org

Заказ книг в интернет-магазине «Лабиринт»:

www.labirint.ru

16+

ЗНАК ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ ЦИТАТ И ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЦИТАТ И ЗАМЕТОК

